

ТОДД МЭЙ

СМЕРТЬ

ГЛАВА 1. СОПРИКОСНОВЕНИЕ СО СМЕРТЬЮ

Весной 2004 года я вылетел из Гринвилла, Южная Каролина, в Нью-Йорк, в аэропорт Ла-Гуардия. Цель моего путешествия — навестить сводную бабушку, с которой мы особенно сблизились в последние годы. Она умирала от рака, и я понимал, что это, скорее всего, мой последний шанс увидеть её. Я часто прилетал к ней раньше, в её уютную квартиру в Бронксе, но этот раз был другим. Полёт не столько тревожил меня из-за её приближающегося ухода, сколько заставлял думать о собственной смертности.

Самолёт, как обычно, взял курс на запад, развернулся над Бруклином и Квинсом и начал снижаться, приближаясь к Манхэттену. Я сидел у окна, с которого обычно открывается захватывающий вид на город, но в тот день меня охватил неописуемый страх. Вместо ожидаемой посадки самолёт внезапно начал набирать высоту и направился прямо к центру Манхэттена. Никто в салоне не объяснил нам, что происходит, но было ясно: что-то пошло не так. По тому, как стремительно приближалась к нам громада Эмпайр-Стейт-билдинга, становилось очевидно, что мы отклонились от привычного маршрута.

Тишина в салоне становилась всё более гнетущей. Люди, недавно оживлённо беседовавшие, замерли, следя за тем, как самолёт летит прямо на небоскрёб. Меня охватил не только страх, но и нарастающий гнев. Эмпайр-Стейт-билдинг всегда был для меня символом Нью-Йорка, незыблемой гордостью моего города. И вот теперь, когда он оказался так близко, я ощущал в сердце болезненное осознание: жизнь невероятно хрупка. В эти секунды мои мысли метались между последними разговорами с женой и детьми. Я с облегчением вспоминал, какими искренними и тёплыми были наши прощальные слова.

Когда казалось, что смерть неизбежна, я вдруг понял: я не жалею ни о чём. Моя жизнь не была идеальной. Я долго жил в Южной Каролине, реже видел друзей, чем следовало, и бывал в Нью-Йорке не так часто, как хотелось бы. Но, несмотря на всё это, я был в мире с самим собой. Я понял, что не променял бы свою жизнь ни на какую другую. Каждое мгновение с семьёй, каждое утро за завтраком с женой, каждая тренировка, после которой я чувствовал удовлетворение, — всё это было бесценно. Моя жизнь была уникальной, и я осознал, что, несмотря на все её несовершенства, она была такой, какой я её хотел.

Я не стал бы отказываться от времени с детьми ради карьерного успеха, не променял бы спонтанные завтраки с женой, наполненные простыми радостями, на что-то более материальное, и не отказался бы от трудных тренировок, даривших мне ощущение силы и спокойствия. Моя жизнь отличалась от той, которую я себе представлял в юности, когда только начинал строить карьеру или учёбу. Но, пройдя через все её испытания и успехи, я не стал бы менять ни одного её мгновения, ни одной допущенной ошибки, ни одного своего достижения.

В тот день смерти не было суждено настигнуть меня. Самолёт смог набрать высоту и пролететь над Эмпайр-Стейт-билдингом —казалось, что всего в нескольких метрах от его вершины. Позже выяснилось, что другой самолёт собирался сесть в Ла-Гуардию одновременно с нами, и наш пилот, мгновенно среагировав, выбрал альтернативный курс. Хотя выбранный маршрут был опасным, особенно после событий 11 сентября, у него не было времени объяснить пассажирам, что происходит. И хотя мне хотелось бы знать, в чём дело, его молчание показалось мне оправданным. В итоге это позволило мне задуматься о жизни глубже, чем, возможно, я смог бы в любых других обстоятельствах.

Нет ничего удивительного в том, что я запомнил тот день навсегда. Возможно, многие из вас, читая эти строки, вспомнят похожие моменты в своей жизни, когда понимание того, что ты смертен, застигает тебя врасплох, и появляется время на раздумья о смысле пребывания в этом мире. Я извлёк уроки из того дня. Я помню, что казалось мне важным в те критические моменты, и с тех пор стараюсь придерживаться этих принципов, стараясь не терять из виду общую картину происходящего.

Может показаться, что осознание смерти или собственной смертности в тот день принесло мне что-то полезное. Ведь если бы я был бессмертен, у меня не было бы повода задумываться о жизни, о её подлинной значимости. Все вокруг потеряло бы всякий смысл. Какие бы ошибки я ни совершил, у меня было бы бесконечное время для их исправления (при условии, что все, кто мне дорог, тоже бессмертны). И даже радости моей жизни утратили бы свой «вкус», зная, что они могут бесконечно повторяться.

Но у этой медали есть и другая сторона. Я мог погибнуть. Самолёты мог врезаться в здание. И если бы я умер, если бы я не был бессмертен, я больше никогда не увидел бы свою жену и детей. Я бы не ощущил ту сладкую усталость после тяжёлой тренировки или вдохновение от новой философской идеи, которые могли бы изменить мое мировоззрение. Все те радости, которые придали моей жизни смысл, просто-напросто исчезли бы вместе со мной.

Прочувствовать смерть — значит по-настоящему задуматься о ней. Смерть трагична, случайна и лишена смысла. Но именно эти её свойства способны открыть дверь к полноте жизни, которая без осознания смерти была бы недостижима.

В этой книге мы будем исследовать роль, которую смерть играет в нашей жизни, периодически обращаясь к мыслям философов и писателей, которые пытались осмысливать её значение. Мы также рассмотрим способы, с помощью которых люди стараются избежать власти смерти, и что может произойти с нами, если мы решимся взглянуть ей в лицо.

С самого начала я хотел бы сделать смелое заявление: тот факт, что мы смертны, является самым важным фактом о нас. Нет ничего более важного в нашей жизни. Это, конечно, не умаляет важности других аспектов нашей жизни. Люди любят, работают, занимаются творчеством, строят дружеские и семейные отношения, реализуют амбициозные проекты, переживают сильные эмоции и сталкиваются с потерей близких. Всё это важные элементы нашего существования. Жизнь, лишенная хотя бы некоторых из этих аспектов, вероятно, утратила бы свою ценность, по крайней мере, для тех, кто её проживает.

Для большинства из нас не существует какого-то одного аспекта, который полностью бы определил нашу жизнь. Смерть тоже не является таким аспектом, хотя является самым важным из них, ибо именно смерти суждено ставить точку во всех остальных аспектах нашего существования. Смерть прекращает наши дружбы, проекты, участие в жизни мира вокруг нас. Хотя смерть не преставляется единственно значимым аспектом, она обладает уникальной способностью подчинять себе всё остальные аспекты.

Можно сказать, что великая любовь имеет присущие себе характерные черты. Когда любовь становится центром твоего мира, всё вращается вокруг одного человека. Главное — быть рядом с ним, все другое теряет свой смысл. Каждая его эмоция, от улыбки до едва заметного движения брови, приобретает огромное значение. Твоё счастье неразрывно связано с его счастьем. Многие переживали такие моменты любви, пусть даже на короткое время. Но сохранить такую любовь на протяжении всей жизни невероятно трудно. И даже если бы это было возможно, если бы любовь длилась всю жизнь, она всё равно не поглощала бы нас так полностью, как это делает смерть.

Даже на пике любви мы продолжаем жить обычной жизнью. Мы едим и наслаждаемся вкусом яств. Конечно, всякая еда может казаться вкуснее в компании любимого человека, но её вкус порой остается ощутимым и сам по себе. Мы продолжаем читать газеты или просматривать новости в интернете. В мире происходят события, которые затрагивают нас, даже если мы глубоко влюблены. Войны, массовые убийства, голод — даже в любви мы не застрахованы от отвращения к этим ужасам. Маленькие радости, такие как победа любимой спортивной команды, всё ещё способны вызывать у нас эмоции, пусть и не такие сильные. (За исключением, разве что, таких фанатов "Нью-Йорк Никс", как я, которые тщетно ждут таких всплесков.)

Но со смертью всё по-другому. Ничто не ускользает от нее. Она поглощает нас целиком, без остатка. Более того, смерть не только поглощает всё вокруг, но и отрицает само существование того, что она поглощает. Великая любовь может изменить наше восприятие мира, заставив нас видеть его через призму этих чувств. Мир остаётся прежним, но выглядит иначе, наполненный оттенками этой любви. Однако после смерти мира больше не существует. Он не меняется — он просто исчезает.

Однажды я проводил семинар о смерти для группы студентов старших курсов. В первый день я попросил их отложить книги и взять чистый лист бумаги и карандаш. Затем я предложил им написать на этом листе четыре или пять самых важных вещей в их жизни и сложить этот лист пополам. Я пообещал, что никто не увидит того, что они напишут. Когда они закончили, я попросил их передать мне сложенные бумаги. Я заверил их, что меня не интересует их содержание, важно лишь то, что каждый из них уже держит в руках свою предсмертную записку, что каждый написал на этом листе то, что было важно именно для него.

Когда я собрал все бумаги, я сложил их в стопку и предложил студентам сосредоточиться на том, что они написали. Затем я медленно разорвал все эти листы на мелкие кусочки. Я сказал им, что вот именно с этим каждому из нас предстоит столкнуться — с полным исчезновением всего, что мы считаем важным. Это то, что нам предстоит осознать, насколько это вообще возможно.

Это и делает смерть самым важным аспектом: её способность сводить на нет все остальные аспекты нашей жизни. И это ещё не всё.

Есть еще одна сторона смерти, которую мы подробно обсудим позже, но стоит затронуть его сейчас, чтобы подчеркнуть постоянное присутствие смерти в нашей жизни. Представим себе гипотетическую ситуацию, противоречащую реальности: что, если бы смерть была чем-то таким, о чём мы не подозревали, пока она внезапно не настигала нас?

Представьте, что смерть была бы, словно гром среди ясного неба. Мы жили бы своей жизнью, занимались бы своими делами, увлекались различными хобби, а потом, в один момент, просто перестали бы существовать. Такое трудно вообразить, потому что нам пришлось бы объяснять то, как мы осознаём, что другие люди больше не живы, не задумываясь при этом о том, какое отношение это имеет к нам самим. Но давайте всё же предположим существование такого мира. Изменило бы это роль смерти в нашей жизни? Оставалась бы смерть самым важным для нас аспектом, если бы мы не осознавали её неизбежности?

В этом случае смерть продолжала бы означать конец нашего существования. Но, вероятно, она играла бы меньшую роль в нашем повседневном сознании. Мы бы умирали, но сам

факт, что нам суждено умереть, не повлияло бы на восприятие нами жизни. Мы жили бы так, словно вечность — это норма, или, по крайней мере, не задумывались бы о том, что это не так. Мы бы просто существовали, пока однажды этот процесс не прекратился.

Но мы живем в иной реальности, где игнорировать смерть не представляется возможным. Она всегда рядом, сопровождая нас на каждом шагу. Возможно, маленькие дети ещё не осознают этого, но для взрослых смерть становится неизбежной частью восприятия жизни. Недавно мой старший сын научился водить машину, и мы с женой сделали всё возможное, чтобы внушить ему важность осторожности — ведь он должен осознавать реальность смерти.

С возрастом мы начинаем замечать, как люди уходят из нашей жизни, или сталкиваемся с ситуациями, где понимаем угрозу собственной жизни. Осознание смерти всегда присутствует. Это не значит, что мы постоянно думаем о ней — на самом деле, как мы обсудим позже, мы часто стараемся избегать этих мыслей. Но даже когда мы не думаем о смерти напрямую, она остаётся с нами, потому что мы подсознательно стараемся её избежать.

Возможно, люди — единственные существа, которые постоянно осознают собственную смертность. Я не уверен, правда, в этом. Безусловно, многие животные в какой-то степени осознают свою смертность, особенно когда сталкиваются с непосредственной угрозой. Животные съеживаются от страха, проявляют агрессивность, пытаются защищаться. Поддержание собственной жизни заложено в каждом из нас на уровне инстинкта. Это не означает, что нет отдельных случаев — среди людей и животных — когда воля к жизни ослабевает. Но такие случаи являются скорей исключениями.

Стремление сохранить жизнь под влиянием угроз, не то же самое, что постоянное осознание своей смертности. Это скорее похоже на тот гипотетический случай, который я описал ранее, но с добавлением некого сигнала тревоги, срабатывающего, когда смерть оказывается слишком близко. Чтобы смерть играла ту роль в нашей жизни, которую она действительно играет, необходимо нечто большее, чем просто осознание её неизбежности перед лицом угрозы.

Для этого требуется более высокий уровень сознания. Важно понимать, что у жизни есть определённая траектория: есть начало, есть конец, и есть время между ними. И, что ещё важнее, необходимо признать, что смерть может прийти в любой момент. Человек смертен не только в конце своей жизни, но и на всём её протяжении. Без понимания этой траектории, без осознания постоянной уязвимости перед смертью, роль последней в жизни человека была бы менее значительной.

Существуют ли животные, способные к такому высокоуровневому пониманию своей жизни и роли, которую играет в ней смерть? Ответ на этот вопрос не ясен. Учитывая эволюционную историю, можно предположить, что существуют промежуточные стадии между полным неведением и полным осознанием смерти, характерным для человека.

Трудно понять, как работает это более или менее смутное осознание у других существ. Но нельзя отрицать, что люди, обладая развитой памятью, способностью к размышлению и прогнозированию, постоянно привязаны к факту своей смертности. Мы можем пытаться избегать этих мыслей, но они всегда присутствуют. Как существа, осознающие, что наша жизнь имеет конечный пункт назначения и что мы можем не достичь его, мы неизбежно живем с осознанием собственной смертности.

Таким образом, человек — это существо, которое, прежде всего, характеризуется своей смертностью. Я уже упоминал, что это самый важный наш аспект. Но некоторые могут с этим не согласиться.

Возможно, они захотят утверждать, что мы рассуждаем на слишком абстрактном уровне. Здесь под "абстрактным" я не имею в виду "сложный", а скорее отстранение от конкретики жизни. Может показаться, что на уровне обобщения, на котором мы сейчас находимся, легко утверждать, что смерть — это самый важный наш аспект. Но возможно, что смерть, хотя в каком-то смысле и является самым важным аспектом людей в целом, она не обязательно служит самым важным аспектом каждого из нас в отдельности.

Могут быть конкретные жизни, и их может быть довольно много, где существуют более значимые аспекты, чем аспект неизбежного конца.

Рассмотрим пример: семья переживает смерть ребёнка. Это случается нередко, особенно в тех местах, где нехватка ресурсов затрудняет жизнеобеспечение. Представим себе эту ситуацию более подробно. У ребёнка развивается тяжёлое заболевание, которое не поддаётся лечению. Его здоровье медленно ухудшается на глазах у семьи, и они вынуждены это терпеть. Родители, в частности, беспомощно наблюдают, как их ребёнок неизбежно приближается к смерти. Разве этот факт не станет самым важным для родителей, затмевая их собственную смертность? Разве их собственная смерть не потеряет свою значимость перед таким горем?

Принимая это, мы не можем выбрать лёгкий путь. Мы не можем сказать, что это тоже связано со смертью, и поэтому как-то соотносится с проблемой смертности, о которой мы говорим. Этот пример демонстрирует нам нечто иное.

Поскольку мы обсуждали смерть, важно подчеркнуть, что фундаментальным фактом нашей жизни является не смерть кого-то другого, а именно наша собственная смерть. Как

говорил философ Мартин Хайдеггер, существенным аспектом смерти является то, что для каждого из нас этим аспектом является наша собственная смерть. Мы можем слышать о смерти других, посещать похороны, даже быть свидетелями чьей-то кончины. Все это важные моменты, но они не заменяют уникальность нашей собственной смерти. Дело не в том, что наша смерть имеет большее значение в глобальной картине, чем смерть кого-то другого. Важно то, что собственную смерть нельзя полностью понять или примириться с ней через опыт смерти другого человека. Осознание своей смертности остаётся глубоко личным и не может быть понято по аналогии с чьим-то еще опытом.

Это возвращает нас к вопросу о том, как воспринимать смерть своего ребёнка. Я уже говорил, что смерть — это самый важный наш, человеческий аспект. Но может ли быть так, что какое-то травмирующее событие — или, возможно, какое-то великое событие, хотя представить это сложнее, — может стать более значимым для конкретной жизни, чем факт собственной смерти? Может ли быть так, что в свете такого события смерть теряет свою силу, и конец нашего опыта становится чем-то, чего нужно бояться меньше, а может, даже и приветствовать?

Здесь можно ответить двояко. Первый ответ по своей природе прост и философичен. Он может показаться попыткой уклониться от вопроса, но напоминает нам о чём-то важном в понимании того, кто мы есть. Этот ответ заключается в том, что смерть — самый важный человеческий аспект. В качестве индивидуальностей наши особенности могут различаться. У некоторых из нас может быть тяжёлая жизнь, которая порой кажется не стоящей того, чтобы её проживать. (В 1988 году я встретил молодого человека в лагере беженцев в секторе Газа. Ему было семнадцать. Он рассказал мне, что однажды потребовал у своего отца объяснений, почему тот привел его в такой мир.) Для других из нас, вероятно для большинства, трудности жизни не отменяют её значимости. Но что объединяет нас всех как людей, так это смерть, неизбежность которой сочетается с неопределенностью. Смерть, которая положит конец нашему существованию, и может сделать это в любой момент. Более того, эта неизбежность и неопределенность — аспекты смерти, от которых мы не можем уйти. В конечном итоге, мы — существа, осознающие свой грядущий конец. И это осознание структурирует наш образ жизни, возможно, даже сильнее, когда мы ведём себя так, как будто никогда не умрём.

Но даже если это правда, такой ответ, кажется, не решает вопрос о том, является ли в случаях, подобных нашему примеру, смерть более важным фактом в конкретной жизни, чем какое-либо другое событие или факт о ней.

Чтобы ответить на этот вопрос более непосредственно, я хочу выделить два различных аспекта, которые сосредоточены на важности фактов о жизни человека, но раскрываются по-разному. Первый вопрос таков: что придает жизни смысл или делает её стоящей того, чтобы её прожить, или, наоборот, лишает её смысла? Второй вопрос заключается в

следующем: что является самым важным фактом в жизни, который структурирует её больше, чем любой другой? Важность травмирующих событий, таких как смерть ребенка, заключается в их роли в ответе на первый вопрос. Важность смерти связана со вторым.

В жизни могут произойти события, как хорошие, так и плохие, которые придают жизни смысл или, наоборот, лишают её смысла. Когда мы оглядываемся на свою жизнь, мы неизбежно задаёмся вопросом о значимости этих событий. Они включают в себя проекты, которые мы завершили, отношения, которые мы развили, и ключевые моменты, которые произошли. Для некоторых из нас, возможно, для очень немногих, среди этих событий будет смерть ребёнка. Эта смерть станет определяющим событием в жизни родителей, вынужденных столкнуться с ней. Из-за этого трагического события жизнь может показаться менее значимой для тех, кто её пережил. Она станет частью содержания их жизни, над которой они будут размышлять, задаваясь вопросом о её значимости.

Важность смерти в другом. Она не заключается в содержании жизни или её конкретной траектории. Скорее, смерть структурирует саму жизнь. И делает это таким образом, что, возможно, является более важным, чем любой другой её аспект. Мы живём в тени того факта, что однажды мы умрём. То, что мы делаем, как мы это делаем, и наше отношение к этому происходит на фоне осознания нашей смертности. Это не означает, что всё в жизни сводится к смерти. Есть множество других важных аспектов человеческой жизни. Но среди этих важных аспектов смертность занимает особое место.

Осознание смерти структурирует даже отношение к смерти ребёнка. Осмысленность жизни родителей, как и для всех людей, формируется в рамках осмысленности земной жизни. Родители будут размышлять о жизни и смерти своего ребёнка, о том месте, которое этот трагический опыт занимает в их жизни, с точки зрения тех, кто сам когда-то умрёт. Всё было бы иначе, как мы увидим в следующей главе, если бы родители были бессмертны. Но родители не бессмертны, и их подход к смерти ребёнка неизбежно будет структурирован осознанием собственной смертности.

Можно выразить это так: в нашей жизни есть проекты, отношения и события, которые составляют содержание или «что» нашей жизни. Смерть — одно из таких «что», но она проявляется в форме «как», когда сама становится «что». Когда смерть наступает, «как» исчезает. Но до тех пор, пока она не наступила, она воздействует на жизнь именно как «как»: самое важное «как», которое структурирует человеческую жизнь.

Я привёл несколько причин, почему смерть — это самый важный наш аспект, и постарался, по крайней мере на начальном этапе, показать, насколько важно осознание центрального места смерти в жизни. Чтобы понять это, рассмотрим сферу жизни, которая имеет центральное значение для большей части населения Земли: религию. Одна из ключевых функций религии — это борьба со смертью. Это важная роль. Большинство религий

предлагают утешение в виде продолжения жизни после смерти. Для меня один из насущных аспектов размышлений о смерти заключается в том, что я не верю в загробную жизнь. Поэтому мне нужно осознать свою жизнь во всей её краткости и завершённости (завершённости, которая особенно чётко проявилась для меня в тот день в самолёте в 2004 году). Большинство религий признают, что люди сталкиваются лицом к лицу со смертью, и понимают, что примирение с ней имеет первостепенное значение. Однако, вместо того чтобы воспринимать смерть как окончание жизни, многие религиозные традиции рассматривают её иначе — как переход, а не конец.

Религиозные обычаи и смерть

Конечно, большинство религий не отрицают нашей физической смерти. Однако для многих религий существует особый смысл, в котором мы действительно продолжаем существовать после смерти: мы не умираем в том смысле, что нас больше нет вовсе. Чтобы понять, как это работает и почему смерть занимает центральное место во многих религиозных традициях, рассмотрим несколько примеров. Приводя эти примеры, нужно сразу признать, что религиозные традиции чрезвычайно богаты и разнообразны. Причины, по которым я выбрал эти примеры, заключаются в том, что они представляют общие подходы в рамках конкретных религиозных традиций. Многие люди могут узнать в них свои собственные убеждения, хотя другие, исповедующие ту же веру, могут этого не сделать.

Начнем с монотеизма. Рассмотрим христианство. Согласно этой религии, после смерти душа человека попадает в рай, в ад (или, в некоторых случаях, в чистилище) в зависимости от прожитой жизни. Ваше физическое тело остаётся на земле, но вашей душе предстоит появиться перед судом и, в зависимости от результатов этого суда, душе отведено соответствующее место. В этом суть загробной жизни в христианстве.

Важно обратить внимание на один конкретный предмет этой концепции: в загробной жизни вы продолжаете существовать, переживая собственную смерть. Речь идёт не просто о продолжении существования, но о том, что именно вы, как личность, продолжаете это существование. Вы, кто существовал при жизни, в каком-то смысле идентичны с тем, кто продолжает существовать после смерти. Это необходимо для того, чтобы суд над вашей душой имел смысл. Ведь если бы кто-то другой, а не вы, подвергался суду за ваши поступки, то это было бы лишено логики. Именно вы подвергаетесь суду, и именно вас отправляют в рай или ад.

Это означает и то, что тот, кого судят, должен быть тем же самым человеком, кем был при жизни. В противном случае не имело бы смысла подвергать кого-то другого суду за ваши поступки, вознаграждать или наказывать за них кого-то другого. Представьте, что судья

выносит приговор преступнику, а затем отправляет в тюрьму другого человека — или, что ещё более абсурдно, придумывает кого-то нового, чтобы его наказать. Смысл вознаграждений и наказаний именно в том, что они назначаются тому, кто их заслужил. Если мы рассматриваем рай и ад как вознаграждение и наказание соответственно — а трудно представить их иначе, — то они должны быть предназначены для того, кто заслужил их.

Результатом этого является непрерывность между тремя этапами вашего существования. Первый этап — это ваше земное существование. Второй этап — это ваше существование после смерти до суда. Третий этап — это ваше существование после суда. Все эти три стадии, чтобы христианская доктрина о загробной жизни имела смысл, должны быть этапами вашего существования. Вы должны присутствовать на каждом из этих этапов. Это не обязательно должно быть ваше физическое тело; ваше тело не остаётся с вами на последних двух стадиях. Но это должна быть ваша сущность, суть того, кем вы являетесь. В христианской традиции ваша душа представляет собой эту сущность, которая пребывает на всех трех стадиях. Ваше тело в этой традиции считается проводником вашей души (хотя оно также обладает слабостями, которые могут склонять его к греху, и которые бестелесная душа не испытывает).

Тот факт, что именно вы сохраняетесь на всех трёх этапах существования в христианской загробной жизни, является как источником утешения, так и страха. Возможность существовать в вечном блаженстве приносит надежду только в том случае, если это будете именно вы. Точно так же угроза вечного проклятия вызывает страх (и побуждает к благочестивым действиям) лишь в том случае, если вы сами столкнетесь с муками. Но есть нечто более глубинное, что лежит за этими обещаниями и страхами, и что, я полагаю, служит основой утешения в представлении о загробной жизни.

Это нечто — ваша непрерывность. Независимо от того, проведете ли вы свою вечность на небесах или в аду, будете ли благословлены или прокляты, вы всё равно будете существовать. Вы — ваша сущность — не исчезнете. Не произойдёт полного отрицания вашего существования тем образом, о котором мы говорили ранее. Возникает естественный вопрос: что именно из вашего опыта сохранится? Сохранятся ли все ваши воспоминания на последующих этапах?

Это маловероятно, поскольку даже на первом этапе жизни не все воспоминания остаются с нами. Но что-то из них должно сохраниться, чтобы вы оставались самим собой. Трудно представить, как вас могут судить, если у вас не будет прошлого, которое вы несёте с собой. Кроме того, какие аспекты вашей личности и образа жизни останутся после вашей телесной смерти? Сложно сказать точно, но, как и в случае с воспоминаниями, какие-то важные аспекты должны сохраниться — по крайней мере, наиболее значимые, — чтобы

вы остались самим собой. Ваш интеллект, эмоциональная направленность, стиль общения — всё это должно быть подвержено суду и отразиться на его последствиях.

Хотя специфику этого трудно определить, одно можно сказать точно: что бы из вашего опыта ни сохранилось, оно должно лежать в основе вашего существа. Оно должно быть неразрывно связано с тем, кто вы есть. И именно это служит источником утешения в концепции загробной жизни. Человек может бояться вечных мук в аду, но он, по крайней мере, уверен в том, что будет продолжать жить: жить своей собственной жизнью, оставаясь самим собой. Радости могут закончиться, но жизнь — нет.

Поэтому представление о загробной жизни приносит некоторое утешение, какими бы ужасающими ни были её возможные последствия. Конечно, в большинстве христианских конфессий существуют механизмы, позволяющие избежать худшего сценария. Но даже в этом случае одно остаётся неизменным: вы сами. То, что смерть угрожает отнять, остаётся более или менее нетронутым.

Понимая это, становится очевидным, насколько центральной является идея целостности личности после смерти в христианстве. Без концепции загробной жизни, которая сохраняет душу индивида, христианство стало бы совершенно иной религией. (Конечно, не все христианские конфессии требуют веры в загробную жизнь, хотя это распространённый подход. Некоторые, особенно те, кто трактует Новый Завет более литературно, интерпретируют понятие загробной жизни в метафорическом ключе).

Однако не только христианство таким образом противостоит смерти. Большая часть иудаизма и ислама делают то же самое. Более того, восточные религии тоже присоединяются к этой когорте.

Буддизм, одна из самых известных восточных религий, служит примером такого подхода. Буддизм подчёркивает необходимость отказа от привязанности к вещам этого мира. Он стремится искоренить желание, поскольку желание приводит к страданию — как самому себе, так и другим. Люди желают многое: материального успеха, признания, комфорта, любви и так далее. Проблема в том, что никакое количество этих вещей не может полностью удовлетворить желание. Желание просто перемещается на что-то другое или требует чего-то большего. Поддаваясь своим желаниям, мы обречены на вечное неудовлетворение. Мы никогда не сможем достичь полного мира, если будем следовать своим желаниям, и всегда будем страдать.

Желание приводит не только к нашим собственным страданиям, но и к страданиям других людей. Именно из-за желания мы вступаем в конкуренцию, стремимся к тому, что есть у других, сравниваем себя с ними и, в конечном счёте, готовы причинить им вред. Без желания у человека не было бы причин плохо относиться к другим. Однако желание крайне

сложно погасить. В результате многие из нас заканчивают свою жизнь в страданиях и приносят страдания другим. Именно здесь учение о карме становится важным.

Следует отметить, что существует несколько способов интерпретации кармы. Один из менее популярных подходов заключается в том, чтобы рассматривать карму как бесконечную карусель желаний, с которой необходимо сойти, чтобы достичь покоя. Согласно этой интерпретации, буддийское "колесо сансары" символизирует бесконечный процесс возникновения и удовлетворения желаний, за которым всегда следует новое желание, и так до бесконечности. Этот подход к карме не фокусируется напрямую на проблеме смерти, а скорее на цикле неудовлетворенности.

Другая, более известная интерпретация кармы требует концепции перевоплощения или инкарнации. В этой интерпретации "колесо сансары" относится к циклам жизни и перерождений, через которые проходит человек, пока не достигнет нирваны — состояния, свободного от желаний. В общих чертах идея такова: насколько человек подвержен желаниям, настолько он будет страдать и причинять страдания другим. Когда человек умирает, его следующая жизнь определяется его кармой — совокупностью действий и мыслей в прошлой жизни. Меньшая привязанность к желаниям позволяет человеку переродиться в более высокой форме жизни; большая степень желаний направляет его к более низким формам существования.

Карма человека относится к его поступкам и намерениям в течение жизни, но это не просто описание действий. Карма имеет нормативное значение: она одновременно является и суммой всей жизни человека, и оценкой этой жизни с точки зрения устраниния желаний и его последствий. Таким образом, карма определяет, в каком состоянии и какой форме человек переродится в следующей жизни.

Возникает вопрос: что же такое перерождение? Как и в христианской концепции, о которой мы говорили ранее, ваше физическое тело не остается с вами после смерти. Когда вы перерождаетесь, это происходит в другом теле. Перерождается ваш разум или душа — как в христианстве. Если карма человека определяется тем, как он прожил свою жизнь, то его перерождение ставит его в определённое кармическое состояние в следующей жизни.

Кармическое состояние — это не неизбежная судьба. Если бы это было так, каждый перерождался бы таким же, каким был в предыдущей жизни. В буддизме человек имеет возможность работать над собой, улучшаться или, наоборот, отказаться от этого. Перерождение предоставляет новую возможность для духовного роста или упадка, в зависимости от того, как человек будет справляться со своими желаниями и привязанностями.

Это определяет, как человек переродится, по крайней мере, до тех пор, пока он не достигнет нирваны, когда он вовсе перестаёт перерождаться. В этот момент человек сходит с колеса сансары. Таким образом, то, кем вы становитесь, развивается либо вверх, либо вниз, в зависимости от того, как вы ведёте свою жизнь. Это противоречит христианству. В христианстве, как и в иудаизме и исламе, у вас есть только одна временная жизнь, и суд над вашей душой происходит один раз. В буддизме (как и в индуизме) каждая жизнь оценивается, и ваше следующее перерождение зависит от того, как вы прожили предыдущую жизнь.

Мы могли бы сформулировать это следующим образом: в иудео-христианской традиции земная жизнь является испытанием для загробной жизни. В буддизме же земная жизнь — это проблема, которую необходимо преодолеть. В то время как в иудео-христианской традиции желание, связанное с мирской жизнью, должно быть преодолено, чтобы заслужить рай, в буддизме желание, связанное с мирской жизнью, должно быть преодолено, чтобы избежать дальнейших перерождений и, следовательно, избежать страданий. Для буддистов жизнь — это страдание, и конечной целью является освобождение от цикла жизни и смерти, преодоление самой жизни.

Возникает вопрос: означает ли это, что буддийское отношение к смерти как к цели отличается от христианского подхода, который мы обсуждали ранее? С одной стороны, буддийская концепция того, кем человек является по отношению к смерти, действительно более динамична. В то время как в христианстве существует только одна земная смерть, в буддизме их множество. И то, кем человек является перед лицом конкретной смерти, может отличаться от того, кем он был перед лицом предыдущей смерти, и тем, кем он может стать в будущем. В христианстве существует строгая преемственность между тем, кто живёт на земле, тем, кого судят, и тем, кем человек становится после суда. В буддизме же существует возможность эволюции разных версий себя, с разной кармой, в каждой жизни.

Меняет ли это основной вопрос о том, переживёте ли вы свою смерть? Ответ здесь отрицательный. Динамика буддийской реинкарнации всё равно предполагает, что вы переживаете каждую смерть. В течение вашей жизни вы меняетесь, вы либо развиваетесь, либо терпите неудачу в этом. Но что остаётся неизменным на протяжении жизней — это сама эволюция. Эволюция требует непрерывности, а непрерывность требует, чтобы существовало что-то неизменное в вас самих. В этом смысле, хотя вы меняетесь с течением времени и через разные жизни, вы всё равно переживаете каждую смерть и перевоплощаетесь в следующей жизни.

Можно задаться вопросом: продолжаете ли вы существовать, достигнув нирваны? После того как вы сошли с колеса сансары, процесс эволюции прекращается. Есть ли "вы" после этого? Ответ на этот вопрос сложен. Можно сказать, что "вы" продолжаете существовать

— это "вы", который пребываете в покое, вышли из турбулентности этого мира. Это идеальный "вы", но всё же "вы". С другой стороны, можно утверждать, что "вы" существуете только до вашей окончательной смерти, после которой нечему больше перерождаться, и "вы" исчезаете, как индивидуальное существо.

Некоторые, кто изучает буддизм, могут спорить с предложенной мной интерпретацией. В конце концов, как они укажут, для буддизма "я" — это миф. Не существует отдельного "я", есть лишь постоянно меняющийся процесс космоса. Это действительно так. Вся буддийская доктрина отрицает идею отдельного "я". Однако значение этого отрицания зависит от того, как интерпретировать буддизм.

Те, кто не принимает доктрину реинкарнации, могут легко понять идею отсутствия "я". Как мы увидим позже на примере даосизма, человек подобен волне в океане: нет никакого отчётливого "я", есть лишь времененная складка космоса, которую человек называет собой.

Однако учение о реинкарнации делает ситуацию более сложной. Если в каком-то смысле "я" является иллюзией, то в другом смысле оно всё же должно существовать. Как и в случае с христианской доктриной, должно быть нечто, что переживает смерть, чтобы затем перевоплотиться. И это "нечто" должно быть непрерывным с предыдущей жизнью, иначе природа реинкарнации была бы совершенно произвольной.

Мы могли бы сформулировать это так: "я" — это иллюзия, которая полностью рассеивается только тогда, когда человек достигает нирваны. До этого момента, несмотря на учение о том, что "я" не существует в абсолютном смысле, существует некая продолжительность или непрерывность между жизнями, которая и позволяет существовать процессу реинкарнации. Таким образом, "я" в буддизме можно рассматривать как функциональную иллюзию — иллюзию, которая имеет смысл и значение до тех пор, пока человек не освободится от цикла перерождений.

Основное сходство между буддизмом и христианством, как мы обсуждали их здесь, можно выразить так: в христианстве человек меняется на протяжении своей земной жизни, в буддизме — на протяжении своей жизни и жизней. Однако в обоих случаях есть нечто узнаваемое — это «вы», тот, кто переживает эти изменения. И, что особенно важно в контексте нашего размышления, этот «вы» переживает смерть, будь то один раз или много раз. Вы не прекращаете существовать. Поэтому вы, суть вашего «я», по-настоящему не умираете. В восточных религиях, как и в монотеистических традициях, смерть в конечном итоге избегается. Речь идет не только о том, что её можно избежать. Смерть, если можно так выразиться, неизбежно избегается. Что бы ни случилось с вашим телом (или телами), вы продолжаете существовать.

Что это нам говорит? Почему важно, что в этих крупных религиях мира человек обязательно переживает собственную смерть? Это даёт нам подсказку о значении и ужасе смерти в человеческой жизни. Если, как говорится в известном клише, в окопах нет атеистов, то это потому, что одной из важных ролей религии в жизни является преодоление страха смерти. Конечно, это не единственная роль религии. Существует также роль космического объяснения, морального руководства, принадлежности к сообществу. Кроме того, я не занимаю здесь позицию относительно истинности какой-либо конкретной религии. Для справки: я — атеист (и поэтому не верю в загробную жизнь). Но, с другой стороны, я никогда не был в окопе. Моя цель не в том, чтобы судить о правдивости той или иной религии, а в том, чтобы обратить внимание на важность переживания смерти, что характерно для этих крупных религий. И моя цель, делая это, показать, насколько важна тема смерти в размышлениях о форме и значении нашей жизни.

Причина обращения к религиям заключается в том, что для значительной части населения мира религия предоставляет концептуальные рамки для осмысливания своей жизни. Именно через религию большинство людей задаются вопросами о том, кто они и каково их место в мире. Поэтому религиозный подход к смерти отражает те надежды, которые люди возлагают на свою собственную смерть. Тот факт, что распространённые религиозные подходы предполагают переживание смерти, говорит нам о том, что смерть — это центральная тема жизни, и что она преследует нас настолько, что мы стремимся избежать её окончательности. Возможно, это верно не для всех, но для подавляющего большинства, включая атеистов, это так.

В этой книге мы столкнемся со смертью в ее окончательности. Основное предположение заключается в том, что человек не переживает свою собственную смерть. В этом смысле мы не будем обращаться к религиям, которые мы только что рассмотрели, чтобы понять и справиться со смертью. Это может вызвать вопрос о нашем подходе. Многие читатели этой книги, вероятно, религиозны или, по крайней мере, открыты для возможности религиозной истины. Создает ли наш подход препятствия для размышлений о смерти? Делает ли он темы, которые мы здесь рассматриваем, неактуальными для таких читателей?

Наверное, нет. Когда я проводил семинар о смерти, мы исходили из того же предположения. У меня было несколько студентов, которые сказали, что они религиозны и верят в загробную жизнь. Однако они отметили, что интересуются темами курса, поскольку их вера не исключает сомнений. Курс напрямую сталкивал их с этими сомнениями. Таким образом, даже для тех, кто религиозен, не кажется бесполезным размышлять о смерти как о конечности, а не как о стадии существования. Вера может сосуществовать с сомнением. В этом смысле эту книгу можно рассматривать как попытку строго следовать тому пути, куда может привести сомнение в загробной жизни. Более того, религиозные традиции широки и разнообразны. Даже те, кто верит в какую-то форму загробной жизни, могут иметь различные представления о том, как это работает и какие аспекты личности могут или не

могут пережить смерть. Обозначенные нами здесь взгляды являются мейнстримными, но существует множество индивидуальных вариаций в содержании веры. (Помню, однажды я видел церковь в Риме, церковь Санты-Мария-делла-Орационе-э-Морте [церковь святой Марии Молитвы и Смерти], на дверях которой были изображены черепа, а внутри было множество скелетов и тем, связанных со смертью. Если какое-либо место могло заставить вас столкнуться со смертью лицом к лицу, то это было именно оно.)

А как быть с тем, кто уверен в загробной жизни, и уверен настолько, что сомнения не возникают? Этот человек абсолютно убежден в одной из доктрин, которые мы только что рассмотрели, или в чем-то подобном. Для такого человека смерть не вызывает тревоги. Единственный вопрос, который встает перед ним, — заслуживает ли он хорошей загробной жизни. Для такого человека, должен признать, дальнейшие размышления имеют мало смысла. Если смерть действительно не является концом существования, то примирение с ней как с окончанием становится пустым интеллектуальным упражнением. Однако, я сомневаюсь, что таких людей много. С одной стороны, для многих убежденных атеистов пари Блеза Паскаля остается хорошей ставкой.

(На что делать жизненную ставку — на религию или на атеизм? Для поиска ответа Паскаль предположил, что шансы существования или отсутствия Бога примерно равны или, по крайней мере, что вероятность существования Бога больше нуля. Тогда возможны два варианта:

Жить без веры крайне опасно, так как возможный «проигрыш» в случае существования Бога бесконечно велик — вечные муки. Если же Бог не существует, то цена «выигрыша» невелика — безверие нам ничего не даёт и от нас ничего не требует (атеистический выбор позволяет всего лишь сэкономить средства, время и усилия на совершение религиозных обрядов и прочее).

Жить по канонам веры неопасно, хотя и чуть более затруднительно из-за постов, всяческих ограничений, обрядов и связанных с этим затрат средств и времени. Цена «проигрыша» в случае отсутствия Бога невелика — затраты на обряды и усилия на праведную жизнь. Зато возможный «выигрыш» в случае существования Бога бесконечно велик — спасение души, вечная жизнь...)

Так и я подозреваю, что большинство набожных людей не столь уверены в своей вере, чтобы не задаваться вопросами о смерти так, как будто загробной жизни нет.

Что такое смерть?

Если мы намерены всерьёз размышлять о смерти как о конечном пункте, нам, наверное, стоит выделить время, чтобы задаться вопросом, что такое смерть или, точнее, что значит

быть существом, которое умирает. Мы уже коснулись этого вопроса в наших предыдущих размышлениях, обсуждая важность смерти в жизни. Однако было бы полезно составить систематический или по возможности систематический обзор того, что значит быть смертным существом и, более того, существом, которое осознает свою смертность.

В философии существует множество размышлений о человеческой смертности. Однако, возможно, ни одно из них не было столь систематичным, как у Хайдеггера в первой главе второй части его монументального труда "Бытие и время". "Бытие и время" — одна из самых влиятельных книг в истории философии. Впервые опубликованная в 1927 году, она представляет собой работу Хайдеггера, посвящённую тому, что он называет вопросом Бытия или смыслом Бытия. В ходе исследования этого вопроса Хайдеггер стремится понять сущность того, кто задаётся вопросом о Бытии, то есть, вопросом о сущности того, кем мы являемся. По мнению Хайдеггера, мы — это те, кто задаётся вопросом о Бытии. Хотя причины, по которым он так считает, выходят за рамки наших текущих целей, факт того, что мы, задающие вопросы о Бытии, являемся смертными, имеет непосредственное отношение к нашему обсуждению. Хайдеггер начинает вторую часть "Бытия и времени" размышлением о том, что значит для человека быть смертным.

Словарь, который использует, а во многом придумывает Хайдеггер, зачастую неуловим и труден для понимания. Американский философ Джон Дьюи утверждал, что "Бытие и время" является вариантом его собственной работы "Опыт и природа", только на «высокопарном немецком». Тем не менее, темы, которые Хайдеггер выделяет и обсуждает, весьма проницательны. Более того, их можно изложить на более повседневном языке. Я хотел бы заимствовать несколько таких тем, чтобы дать общее представление о том, что значит быть смертным существом, осознающим свою смертность. Я не всегда буду представлять эти темы точно так, как это делал Хайдеггер, но любой, знакомый с его работами, узнает его руку в этом.

В частности, стоит обратить внимание на четыре темы. Во-первых, смерть — это конец нас самих и нашего опыта. Во-вторых, этот конец не является достижением или целью; это просто остановка. В-третьих, смерть одновременно неизбежна и неопределенна. Мы точно знаем, что умрем, но не знаем, когда это произойдет. Поэтому смерть не только лежит в конце нашей жизни, но, по сути, пронизывает её. И, наконец, эти три характеристики заставляют нас задуматься о том, есть ли какой-либо смысл в нашей жизни.

(«● Смерть как конец нас самих и нашего опыта: В экзистенциальной философии смерть рассматривается как предельное событие, конец индивидуального существования и всех переживаний. Это точка, в которой наше "бытие-в-мире" заканчивается.

- **Смерть как остановка, а не цель:** В отличие от цели или достижения, смерть не является чем-то, к чему мы стремимся, она просто наступает. Это не завершение пути, а его прерывание, лишённое какого-либо активного смысла.
- **Неизбежность и неопределённость смерти:** Эта мысль подчёркивает, что смерть — единственное абсолютно неизбежное событие, но его время остаётся непредсказуемым. Это знание пронизывает всё наше существование, создавая постоянное присутствие страха или осознания конечности.
- **Смысл жизни перед лицом смерти:** Осознание неизбежности смерти приводит к вопросу о том, есть ли у жизни смысл, если всё в конечном итоге закончится. Хайдеггер рассматривает это как центральную дилемму человеческого существования, которая может побудить нас жить аутентично, принимая смерть как неотъемлемую часть жизни.)

То, что смерть — это конец нас самих и нашего опыта, — именно то, чего стремятся избежать религии, о которых мы здесь говорили. В смерти нас больше нет. Должен признать, это трудно себе представить. Когда я думаю о своей смерти, я часто представляю себе мир, продолжающий существовать после меня. Но такое представление исходит из точки зрения, где я все ещё присутствую. Это как будто я наблюдаю за миром как бы со стороны, но позволяю себе оставаться частью общей картины.

Тишина, которая наступает со смертью, и сам факт, что меня больше не будет, — это нечто совершенно непостижимое. Это ощущение словно преграды, перед которой мой разум останавливается, не в силах её преодолеть или обойти. Смерть предстает не просто как угроза моему существованию (ведь для этого уже слишком поздно), а как нечто настолько необъяснимое и непостижимое, что, тем не менее, неизбежно станет тем, чем я однажды стану.

Для некоторых философов это и есть хорошая новость о смерти. Древнегреческий философ Эпикур писал: «Смерть ничего не значит для нас, ибо когда мы существуем, смерти ещё нет, а когда смерть приходит, нас уже нет» («Главные мысли», II). Это лаконичный анализ смерти, над которым стоит задуматься.

Для Эпикура жизнь заключается в удовольствиях и страданиях. Отсюда происходит термин "эпикурейцы", относящийся к людям, которые стремятся наслаждаться всеми видами удовольствий. Однако, эпикурейцы в современном понимании следуют философии, противоположной взглядам самого Эпикура. Эпикур не утверждал, что люди должны стремиться к удовольствиям, скорее, он считал, что они должны избегать боли. Попытка искать удовольствия, по сути, обречена на провал. Это часто заканчивается разочарованием, и, как также понимают буддисты, желание имеет тенденцию умножаться,

оставаясь в конечном счете неудовлетворённым. Однако, подход Эпикура к этой проблеме отличается от буддийского. Вместо того чтобы полностью устраниТЬ желание, Эпикур предлагал искать только простые удовольствия. Питательная еда, место для сна, дружба и общение — вот составляющие хорошей жизни. Когда человек осознаёт, что ничего большего ему не нужно, он обретает покой и, в основном, избавляется от боли.

Здесь стоит сделать оговорку: «в основном», потому что даже такой подход, как у Эпикура, не защищает от превратностей мира. Когда буддисты стремятся устраниТЬ желание, они делают это для того, чтобы стать полностью невосприимчивыми к тому, что происходит вокруг. Тот, кто не имеет желаний, не может быть затронут ничем, что с ним происходит. Напротив, тот, кто всё же имеет определённые потребности, даже простые, остаётся уязвимым, если эти потребности не будут удовлетворены. Еда может оказаться недоступной; для значительной части населения мира это действительно борьба за ежедневное пропитание. Дружей может быть сложно найти. В США, где царит конкуренция, бывает трудно различить друга и временного союзника. Это правда, что чем проще желания, тем меньше вероятность их неудовлетворённости. Но Эпикур не оставляет нас неприступными перед разочарованием. И не ставит перед собой такой цели.

Вместо этого он предлагает способ жизни, который может быть максимально удовлетворяющим в пределах естественных ограничений человеческого существования.

Одно из таких ограничений касается смерти. Когда речь заходит о смерти, Эпикур говорит нам: «Все люди живут в городе без стен» («Высказывания Ватикана», 31). Как же тогда можно столкнуться со смертью, не поддавшись страху, который она внушает? Эпикур предлагает осознать, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы умираем, нас больше нет. Не остаётся ничего, что могло бы испытывать боль от смерти. Пока мы живы, мы способны испытывать удовольствие и боль. Но когда мы умираем, мы уже не способны к какому-либо опыту. Мы либо есть, либо нас нет. Если мы есть, смерти нет, и поэтому нечего бояться. Если нас нет, то мы уже умерли, и нет ничего, что могло бы испытывать страх перед смертью.

Это может показаться попыткой уклониться от столкновения со смертью. Но стоит отметить, что если это и так, то этот подход идёт совершенно в противоположном направлении от религиозных традиций, которые мы рассматривали ранее. В тех традициях преодоление страха смерти коренится в том, что мы переживаем собственную смерть. Эпикур же, напротив, находит утешение именно в том, что мы её не переживаем. Для него именно наше полное исчезновение делает смерть неспособной быть источником боли. Не может быть боли, если некому её испытывать.

Можно возразить, что для того, чтобы принять такой взгляд на смерть, необходимо принять всю философию Эпикура, в особенности его идею о том, что жизнь сводится к

удовольствию и боли. Если ничего, кроме удовольствия и боли, нет, и смерть завершает всё это, то смерть действительно не имеет к нам никакого отношения. Но разве взгляд Эпикура не слишком упрощён? Разве наша жизнь не включает в себя значимые дела, выходящие за рамки источников удовольствия и боли? Более того, разве мы часто не беремся за проекты, которые включают боль, чтобы достичь чего-то значимого, что не сводится лишь к предоставлению удовольствия?

Мы вернёмся к этим вопросам позже, особенно когда будем обсуждать идеи о том, что смерть не является достижением или целью, и что она одновременно неизбежна и неопределённа. Однако на данный момент я хочу защитить мысль о том, что взгляд Эпикура можно рассматривать отдельно от идеи о том, что жизнь — это всего лишь удовольствие и боль. Основная мысль Эпикура о смерти, которую мы рассматриваем здесь, заключается в том, что быть мёртвым — значит не иметь опыта. А не иметь опыта — значит не испытывать страданий. Мы можем бояться смерти с точки зрения живого существа, которое хочет продолжать жить. Но с точки зрения самой смерти бояться нечего.

Другими словами, Эпикур не просто сводит жизнь к удовольствию и боли. Вместо этого он меняет перспективу на смерть: с точки зрения живого существа, которое боится смерти, на точку зрения мёртвого существа, которое не испытывает страха или чего-либо ещё. Это не требует редукционистского взгляда на жизнь. Жизнь может быть гораздо богаче, чем просто удовольствия и боли. Однако, какой бы она ни была, она всё равно замолкает со смертью. Та самая непроницаемость смерти, которая кажется мне столь пугающей, используется Эпикуром для того, чтобы этот страх ослабить. Он делает это, говоря не о том, что смерть лишает нас удовольствий и боли, а о том, что она лишает нас всякого опыта. Как таковая, смерть не может быть проблемой.

Правильный вопрос здесь, как мне кажется, заключается не в том, нужно ли нам принять более широкую философию Эпикура, чтобы его взгляд на смерть оказался убедительным. Нет, не нужно. Вопрос в том, можем ли мы разумно сделать этот переход в перспективе. Можем ли мы выйти за пределы собственной жизни настолько, чтобы увидеть вещи с точки зрения смерти? Или, что более важно, достаточно ли того факта, что мы становимся ничем в смерти, чтобы оторвать нас от вовлечённости в жизнь? Является ли осознание того, что смерть — это конец нашего опыта, способом облегчить её угрожающую природу, или же, наоборот, усиливает угрозу для наших жизненных привязанностей?

Здесь становится важной вторая характеристика смерти. Смерть — это не достижение. Это не цель. Смерть — это всего лишь остановка нашей жизни. Чтобы понять, что эта остановка собой представляет, Хайдеггер предлагает несколько контрастов. Смерть — это не созревание и не доведение жизни до целостности. Сказать, что смерть не является созреванием, значит противопоставить её, например, фрукту. Когда фрукт созревает, можно сказать, что он достигает того, к чему стремился. Его созревание — это момент,

когда он наиболее полно представляет собой тот фрукт, которым является. Яблоко, например, готово к сбору, и, следовательно, к распространению своих семян, когда оно созревает. Это не означает, что у яблока есть цель или что оно является продуктом какого-то замысла. Это просто означает, что яблоко, если позволите этот термин, достигает своей зрелости в момент созревания.

Смерть не является подобной этому. Она не является высшим выражением жизни. Смерть не завершает жизнь в её самой полной и характерной форме. Напротив, если уж на то пошло, смерть — это противоположность такому завершению. Вместо того чтобы выражать жизнь, она её уничтожает. Смерть устраниет, а не завершает траекторию жизни. Её нельзя рассматривать как высший момент жизни, момент, к которому жизнь стремится, чтобы стать наиболее полной. Таким образом, созревание — неадекватный способ осмысливания смерти.

По той же причине смерть не приводит жизнь к целостности. Здесь нужно уточнить: в одном смысле, хотя и не особо интересном, смерть действительно делает жизнь целостной. В том смысле, что после смерти человека ничего не остаётся от его жизни. Смерть делает жизнь целостной, обеспечивая, чтобы ничего от неё не осталось. Но когда мы говорим о целостности, мы имеем в виду нечто иное. Мы стремимся к своего рода удовлетворительному завершению, как в романе или пьесе. И здесь также важно быть точным. Слово «удовлетворительный» может быть несколько перегружено смыслами. Для того чтобы роман или пьеса были удовлетворительными, их конец не обязательно должен быть приятным. Скорее, завершение романа позволяет нам оглянуться назад и осмысливать его значение. Конец любого произведения искусства (по крайней мере, любого произведения, развивающегося во времени) важен. Именно в свете этого конца мы осмысливаем то, что произошло ранее. В этом смысле конец романа, пьесы, фильма или поэмы придаёт произведению целостность. Он завершает его, а не просто обрывает. (Конечно, существуют произведения искусства, особенно более современные, которые как раз противятся такому завершению. Однако они действуют вопреки ожиданиям, заложенным традиционными произведениями искусства.)

Этот аспект смерти раскрывает нам нечто о характере нашей жизни. У каждого из нас есть различные отношения и проекты. Позвольте мне привести пример моего отношения с женой. Когда я умру (или когда она умрёт), наши отношения не придут к завершению. Они просто прекратятся. Они оборвутся, причём таким образом, который не придаст им никакого нового смысла. Если один из нас умрёт внезапно, эта бессмысличество будет очевидна для оставшегося в живых. Смерть не придаст отношениям ничего нового; она лишь обрвёт их.

Некоторые могут возразить, что, в определённом смысле, отношения не обрываются. Ведь, разве умерший не продолжает жить в том, кто остался? Разве мы не ощущаем, что

носим в себе частицы жизней других людей — через их слова, влияние, взгляды на жизнь? Если это так, то разве отношения не продолжаются после смерти? Более того, разве не бывает так, что сразу после смерти человека его близкие чувствуют к нему даже большую близость, чем при жизни? Разве не возникает мгновенная, даже более интенсивная, чем раньше, интимность?

Когда мы говорим, что умерший продолжает жить в оставшихся, мы, конечно, не имеем в виду это буквально. Мы имеем в виду, что влияние этого человека и их отношений сохраняется в тех, кто остался. То, что каждый из нас носит в себе после смерти близкого, — это не часть этого человека, а скорее послесвечение, иногда постоянное, от его присутствия среди нас. Это послесвечение, особенно в момент сразу после смерти человека, действительно может порождать определённую близость, но не с самим человеком. Этот человек умер и больше не существует. Близость, как и влияние, скорее представляет собой своего рода тень, которая следует за мной и исходит от меня, но не обладает независимым существованием.

Это не значит, что я умаляю значение сохраняющегося влияния или чувства близости с тем, кто умер. Скорее, это важно определить их место — в моём продолжающемся отношении к тому, что было, а не в отношениях, которые переходят через границу смерти.

С другой стороны, можно сказать, что если смерть предсказуема, если есть время справиться с её неизбежностью, то отношения могут быть завершены. Это может казаться особенно правдивым, если и моя жена, и я доживём до старости. Но я не верю, что это так. Если смерть одного из нас предсказуема, у нас будет время подготовиться к ней. Мы постараемся "подвязать все концы", убедиться, что наши чувства друг к другу ясны, выразить то, что могло бы остаться невысказанным, если бы было больше времени. Но это не приведёт к завершению отношений. Это скорее замена отношениям, которые вот-вот прекратятся. Характерная черта таких отношений не в их целостности, которой они могут достичь в конце. Она заключается в самих продолжающихся отношениях. Отношения, которые я разделяю с женой, — это то время, которое у нас есть и было вместе, и то, как мы заполняем и заполняли это время. В этом смысле наши отношения не похожи на роман. У них нет конца, который выдвигает на передний план их смысл. Они сами по себе являются своим смыслом. Если один из нас умрёт предсказуемым образом, мы можем придать этому определённый смысл. Но это будет всего лишь способом справиться с окончанием отношений, а не способом завершить их.

То, что справедливо для отношений — будь то семейных, дружеских или иных, — также верно и для других аспектов нашей жизни, особенно тех, которые развиваются на протяжении долгого времени. В ходе нашей жизни мы участвуем в различных продолжающихся проектах: профессиональных, спортивных, межличностных, политических и так далее. Некоторые из этих проектов завершаются не смертью, а тем, что

они завершены. Если я умру, не закончив книгу, это не приведет к её завершению. Книга завершится, когда она будет дописана. Если наши жизни полны энергии и активности, мы будем вовлечены в проекты до самого конца. Те проекты, которыми мы занимаемся в конце своей жизни, не будут завершены; они просто прекратятся. Они будут похожи на нити, которые были оборваны, не будучи прикрепленными или связанными.

Особая трагедия смерти молодых людей частично заключается в том, что они не успели вовлечься в значительное количество проектов или довести их до конца. Большинство их проектов остаются лишь мечтами. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что они «не успели пожить». Однако вовлеченность в проекты характерна не только для молодых. Смерть обрывает любые проекты, в которых человек участвует на момент её наступления.

Но так ли это для всех? Возможно ли, что есть люди, для которых жизнь становится целостной, и конец наступает в «правильное время для смерти»? Конечно, такое возможно, и мы вернемся к этой возможности в следующей главе. Однако обстоятельства, при которых это может произойти, необычны. Это должно включать не только завершение всех проектов, в которых человек может быть вовлечен, но и успешное завершение всех его отношений. Мы не говорим здесь о людях, находящихся в депрессии, о тех, кто разочаровался в жизни. Для таких людей жизнь не становится целостной; она просто перестает быть интересной. Мы рассматриваем тех, для кого смерть может рассматриваться как завершение осмысленной жизни. Эти люди, вероятно, и сами, и окружающие их люди считали бы свою жизнь достойной того, чтобы её прожить. И теперь, когда она подошла к концу, смерть становится финальным занавесом.

Нельзя отрицать, что такие жизни возможны и что смерть может завершить их в каком-то смысле. Но также нельзя отрицать их редкость. Сколько жизней заканчиваются, не оборвав какие-то связи, проекты, отношения или даже надежды? Не так много. Для подавляющего большинства из нас смерть ничего не завершает. Она просто прекращает то, что мы хотели бы продолжать: проекты и вовлеченности нашей жизни.

Это возвращает нас к размышлениям о взглядах Эпикура. Мы уже видели, что одним из возможных возражений против его точки зрения является то, что она сводит жизнь к удовольствию и боли. В своё время я утверждал, что нам не обязательно принимать этот аспект философии Эпикура, чтобы найти его взгляд на смерть убедительным. Вопрос, к которому мы вскоре вернемся, заключается в том, можно ли сменить точку зрения с жизни на смерть. На данный момент я хочу подчеркнуть, что мы только что увидели одну из причин, по которой нельзя сводить жизнь к удовольствиям и болям. Удовольствия и боли мимолетны. Они не обладают значительной временной протяженностью. Удовольствия и боли происходят на коротких промежутках времени; они больше похожи на знаки препинания в жизни, чем на саму жизнь. Человеческую жизнь характеризуют вовлеченности. Человеческая жизнь по большей части представляет собой серию

вовлеченностей: с другими людьми, с учёбой или работой, с деятельностью или увлечениями. Эти вовлеченности связаны с удовольствием и болью, но сами по себе они гораздо больше, чем просто удовольствия и боли. Проекты, такие как воспитание ребёнка, достижение успехов в спорте, участие в политической кампании или ведение хозяйства, не могут быть оценены просто по шкале от боли до удовольствия. Они оцениваются по степени своей значимости, и эта оценка не поддаётся измерению.

Эпикур мог бы возразить, что даже если человеческая жизнь связана с вовлечённостью, то в смерти эти вовлеченности исчезают. Нечего о них жалеть, потому что нет никого, кто мог бы это делать. Это справедливый ответ в определённых пределах. Но он упускает более глубокую проблему. Этот факт о человеческой природе больше связан с вопросом о смене перспективы, чем с редукцией жизни к удовольствию и боли. Если наша жизнь состоит из продолжающихся проектов, временно растянутых вовлечённостей, то нам становится трудно отпустить эту жизнь. Эпикур говорит о жизни так, как будто она включает в себя простой переключатель "включено-выключено". Там, где есть сознание, осознание, есть жизнь. Когда сознание уходит, наступает смерть. Но само сознание — это нечто большее, чем просто осознание. Это также вовлечённость. И перспектива утраты этих вовлеченностей является центральной частью боли от осознания своей смертности. Хотя, возможно, и правда, как утверждает Эпикур, что в смерти нечего сожалеть, мы, живущие, имеем много причин сожалеть о своей смерти. И это не потеря удовольствия, в чём Эпикур, безусловно, прав; то, о чём мы действительно можем сожалеть, — это прекращение без завершения тех вовлечённостей и проектов, которые в значительной степени и составляют человеческую жизнь.

Сказав это, я хочу быть осторожным и не сводить всю ценность жизни только к её проектам. Есть нечто в удовольствии и боли, что тоже заслуживает признания. Философ Томас Нагель пишет в своей статье, просто названной «Смерть»:

«Существуют элементы, которые, будучи добавлены к опыту, делают жизнь лучше; есть другие элементы, которые, будучи добавлены к опыту, делают жизнь хуже. Но то, что остается, когда они исключены, не просто нейтрально: оно подчёркнуто положительно... Дополнительный положительный вес обеспечивается самим опытом, а не каким-либо его содержанием» (1979: 2).

Мы можем рассматривать это содержание как удовольствие и боль. Но мы также можем воспринимать это содержание как проекты человека. И если мы это сделаем, то суть утверждения Нагеля в том, что в отсутствие всех этих проектов в жизни остаётся нечто, что само по себе является удовольствием. Есть нечто в самой жизни, что делает её ценной, даже когда проекты идут наперекосяк.

Часто, когда у меня есть возможность, я устраиваю себе дневной сон. Я люблю вздремнуть, но мне также нравится момент пробуждения. Лёжа на кровати, я могу смотреть в окно и видеть дерево на фоне неба. Я часто жил в местах, где мог просыпаться после дневного сна и видеть деревья, обрамлённые небом. И когда я смотрю на это, на зелень листьев на фоне лазурного неба, я иногда чувствую одновременно благодарность и тоску. По причинам, которые я не вполне понимаю, я иногда говорю себе, что буду скучать по этому, когда умру. По чём я буду скучать? По самим цветам, по возможности видеть их. Конечно, я не буду буквально скучать по этим вещам, когда умру. Эпикур прав в этом. Но Нагель тоже прав в чём-то важном. Лежать в постели, видеть зелёное на фоне синего — это не мой проект. Это не часть какой-то вовлечённости. Но это причина быть живым. И хотя большая часть того, что придаёт жизни смысл, заключается в наших текущих обязательствах, мы должны помнить и об этой истине Нагеля, хотя бы для того, чтобы не забывать о богатстве и неразложимости нашей жизни.

Эти размышления уже касаются третьей темы, связанной со смертью: она одновременно неизбежна и неопределенна. Неизбежность смерти — очевидный факт. Мы смертные существа, поэтому мы умираем. Неопределенность смерти также очевидна. Хотя многие из нас проживут дольше двадцати или тридцати лет, все мы осознаем, что смерть может наступить в любой момент. Будь то генетическая слабость, автомобильная авария или, как я однажды думал, оказаться на неправильном самолете в неподходящее время — смерть всегда возможна. Было бы ошибкой утверждать, что смерть всегда одинаково близка; на самом деле, это могло бы сделать её менее неопределенной. Есть моменты, когда смерть менее вероятна, и моменты, когда она более вероятна. Но возможность смерти всегда присутствует. Как говорится, раз я родился, я всегда достаточно стар для смерти.

Сила этой темы заключается не в каждой из этих характеристик по отдельности, а в их комбинации. Именно тот факт, что я не могу избежать своей смерти и не могу контролировать, когда она наступит, делает этот третий аспект таким важным. Если бы я мог избежать своей смерти, её сила была бы ослаблена. Было бы неясно, когда я умру, и даже умру ли я вообще. Это вызвало бы определённую тревогу, но также дало бы надежду. Если моя смерть была бы избегаема, то мне не обязательно пришлось бы сталкиваться с моей смертностью. Или, точнее, я бы мог сталкиваться с ней, но сделал бы это, пытаясь избежать её, а не просто смириться с ней. Это не тот же тип тревоги, что знание о том, что я неизбежно умру, но не знаю когда.

С другой стороны, если бы я знал, когда умру, это вызвало бы другой вид тревоги. Говорят, что жестокость смертной казни связана с тем, что осужденный знает, когда умрёт. В этом есть определённая правда. Однако здесь важно то, что определенность смерти лежит в ближайшем будущем, а не в далёком. Это не то же самое, что знать, что умрёшь через несколько месяцев, по сравнению с тем, чтобы знать, что умрёшь через сорок лет. Знать, что умрёшь через сорок лет, и не раньше, даёт определённое утешение — по крайней

мере, на большую часть этих лет. По крайней мере, можно не беспокоиться о смерти в течение следующих сорока лет. Конечно, это сложно себе представить. Означает ли это, что я мог бы съехать на машине с утёса и не беспокоиться об этом? Конечно, наша трудность в представлении этой ситуации говорит о том, что неопределенность смерти является важной чертой нашего существования.

Какова же особенная тревога, связанная с комбинацией неизбежности и неопределенности смерти? Идея этой комбинации заключается в том, что мы неизбежно умрем, и это может произойти в любой момент. Это означает, что смерть всегда с нами. Она преследует нас. Она сопровождает каждый момент нашей жизни. Мы никогда не бываем далеко от смерти, потому что она неизбежна, и мы не можем контролировать момент её наступления.

Конечно, мы не всегда думаем о смерти. На самом деле, большинство из нас избегают размышлений о своей смерти. Но избегать размышлений о чём-то не означает, что этого не существует, и что это не влияет на то, кем мы являемся и как мы ведём свою жизнь. Это особенно верно в отношении неприятных вещей. Нам не нужно принимать психоанализ или верить в концепцию бессознательного, чтобы признать, что люди часто избегают сталкиваться с теми вещами, которые, тем не менее, влияют на их поведение. Подумайте, например, о том, как вы стараетесь получить одобрение определённых типов людей по причинам, которые не до конца понимаете, или о том, как вы избегаете определённых ситуаций — толпы или одиночества, конкуренции или сотрудничества, работы или отдыха — не вполне осознавая, почему вы это делаете. Иногда случается что-то, что позволяет вам понять почему: связь с травматическим событием в прошлом или влияние кого-то, кого вы когда-то знали. Вам не нужно поддерживать идею о существовании места, называемого бессознательным, где эти ассоциации и влияния сохраняются. И вам не нужно думать, что есть некая специальная психологическая процедура, через которую нужно пройти, чтобы вспомнить их. (И уж точно не нужно видеть в этом проявление какого-то Эдипова комплекса.) Мы все знаем, что бывают вещи, о которых мы предпочли бы не думать, но которые, тем не менее, являются частью нашего прошлого, сохранённые где-то в нашей памяти. Отсюда недалеко до признания того, что если эти вещи являются частью нас, они могут влиять на то, как мы ведём себя.

Итак, обстоит дело и со смертью. Мы знаем, что умрём, и знаем, что не знаем, когда это произойдёт. Мы живём под тенью этого двойного осознания, не всегда осознанно обращаясь к нему и не всегда желая это делать. Наша смертность всегда действует внутри нас, даже когда, а может быть, особенно когда мы стараемся её избежать.

Существует множество способов избегать этого осознания. Можно сосредоточиться на одной из двух сторон этого осознания, игнорируя другую. Мы вернёмся к этой идеи в последней части книги, а пока приведём пару кратких примеров. Можно сосредоточиться на признании неопределенности, не признавая неизбежности, постоянно планируя

будущее и никогда не живя настоящим. Если я всегда сосредоточен на том, что будет дальше, я отказываюсь признать, что однажды этого «дальнего» не будет. В конечном итоге те вещи, которые я откладываю на будущее, будут сорваны, потому что настанет день, когда будущего не будет, как и настоящего.

С другой стороны, я предполагаю (возможно, ошибочно), что некоторые экстремальные альпинисты принимают неизбежность, но пытаются победить неопределенность. По крайней мере, как я это себе представляю, подвергая себя опасности, они стремятся овладеть своей смертью: не избегая её, а наоборот — вызывая её. Смерть произойдёт, но на их условиях. Её неопределенность будет, по крайней мере, частично устранена.

Возможно, нечто подобное происходит и тогда, когда мы планируем свою смерть, например, составляя завещания или оформляя страховку жизни. Хотя таким образом мы не контролируем свою смерть, мы пытаемся контролировать её последствия для тех, кого любим.

Хайдеггер считает, что большинство людей большую часть времени живут, отрицая смерть. Он не имеет в виду, что люди не размышляют о смерти постоянно. На самом деле, некоторые люди делают это. Но постоянное размышление о смерти тоже может быть формой отрицания, поскольку оно может быть способом попытаться её контролировать. (Если я постоянно думаю о смерти, удерживаю её перед собой, то, как в случае с моими воображаемыми экстремальными альпинистами, она не сможет подкрасться ко мне и застать врасплох.) Хайдеггер имеет в виду, что мы недостаточно глубоко принимаем факт своей смерти, её окончательность, отсутствие цели, её неизбежность и неопределенность.

Смерть помогает структурировать нашу жизнь — возможно, это самый влиятельный мотиватор в нашей жизни, — и всё же мы не размышляем о ней, не учтываем её, когда задумываемся о том, какую форму принимает наша жизнь. Он может быть прав. Я подозреваю, что так и есть. Когда я преподавал семинар о смерти, я часто просыпался посреди ночи в холодном поту, думая о конце своего существования. Обычно я этого не делаю. (Моя жена уверяет меня, что я сплю крепко и громко храплю.) Размышления о смерти — это то, чего большинство из нас предпочло бы избежать. Это заставляет нас столкнуться с собой таким образом, какого мы бы предпочли избежать. И это поднимает возможность, которую мы предпочли бы не рассматривать: что наша жизнь на самом деле не имеет смысла или цели.

Это четвёртый аспект или тема смерти. Это не совсем факт о смерти, как другие три темы. Скорее, это больше похоже на следствие, которое иногда вытекает из них. Смерть окончательна. Это остановка без цели или целостности. Она неизбежна, но не поддаётся расчёту. Она сама по себе не бессмысленна, но может заставить нас чувствовать себя бессмысленными. Мы должны спросить себя, почему это так. Это не обязательно должно

быть так. Как мы увидим в следующей части книги, есть нечто в смерти, что также придаёт значимость или смысл человеческой жизни. Но, сталкиваясь с фактом смерти, мы часто чувствуем, что наша жизнь была в какой-то мере напрасной. И это то, что требует исследования в данный момент.

Чувство бессмыслицы проистекает из трёх других тем. Мы можем сформулировать эти темы следующим образом. Во-первых, смерть — это наш конец. После смерти от нас ничего не остаётся. Мы существуем только в жизни, которую ведём сейчас. У этой жизни нет другой цели, кроме неё самой. Она не ведёт ни к чему другому: ни к награде, ни к наказанию. Все пути ведут только к нашему исчезновению. Более того, и это вторая тема, сама смерть не придаёт этим жизням никакого смысла. В смерти нити, связывающие нас с миром, не связываются вместе и не вплетаются в какое-то большее полотно. Они просто обрезаются, оставаясь лежать без узора или связи. В-третьих, эта смерть, которая обрезает эти нити, может наступить в любой момент. Нет справедливости в том, когда это произойдёт, хотя это обязательно произойдёт. Мы живём, всегда признавая, пусть даже не осознавая, что наши жизни когда-нибудь прекратятся без завершения и без апелляции. И этот день может быть любым. В некоторые дни это менее вероятно, чем в другие, но любой день может подойти.

Таким образом, смерть действительно бросает тень на нашу жизнь. И хотя я не думаю, что это единственный способ выразить эту мысль — мы увидим и другие способы, — я также не считаю этот способ ошибочным. Мы можем смотреть на смерть по-разному, но эти способы не будут заменять данный взгляд, а скорее дополнять его. То, что мы здесь выявили, рассматривая три темы, — это не иллюзорное восприятие роли смерти в нашей жизни. Напротив, это точный взгляд на один из аспектов этой роли. Для многих людей, если этот взгляд верен, он также является исчерпывающим. Больше нечего сказать.

Почему? Большинство из нас хотят, чтобы наша жизнь имела смысл или значимость. Мы хотим, чтобы у неё была цель. Недостаточно сказать, что жизнь была весёлой или приятной, пока она длилась. Это не означает, что веселье и удовольствие не играют роли в жизни. Жизнь без радости, вероятно, не будет чем-то, что кто-либо захотел бы прожить. Но кажется, что должно быть нечто большее.

Это "нечто большее" можно найти разными способами. Его можно найти через загробную жизнь, которая делает эту жизнь испытанием, подготовкой или прелюдией. В этом случае человеческая жизнь приобретает свою значимость в зависимости от того, что произойдёт после неё. Это может показаться уменьшением важности того, что происходит в течение земной жизни. Философ Фридрих Ницше критикует религию именно по этому поводу. Для него религия — это попытка принизить наш мир во имя некоего высшего трансцендентного мира. Однако загробная жизнь не только умаляет земную жизнь; она также придаёт ей

значимость. Она предлагает возможность успехов и неудач, что, в свою очередь, позволяет этим жизням иметь смысл для тех, кто их проживает.

"Нечто большее", которое мы ищем, может быть найдено и другими способами. Допустим, было бы возможно создать свою жизнь как произведение искусства. Это, казалось бы, придало бы ей красоту, которая была бы значимой. Жизнь могла бы быть похожа на роман, имеющий узнаваемое начало, середину и конец, где конец позволил бы связать все элементы романа и увидеть смысл целого. Или она могла бы быть похожа на картину или музыку, где каждая из тем жизни взаимодействовала бы с другими, как цвета или ноты, так что целое приобретало бы сияние или гармонию, которая могла бы остаться незамеченной, если сосредоточиться только на отдельных элементах. В отличие от жизней, посвящённых загробной жизни, здесь жизнь обрела бы свою значимость в самой себе, а не в связи с чем-то ещё. Тем не менее, она имела бы значимость, которую мог бы признать сам человек, проживший эту жизнь.

Смерть разрушает оба этих проекта придания жизни смысла, поиска этого "нечто большего". В случае с загробной жизнью, конечно, мы не утверждаем, что её не существует. Как можно утверждать это? Мы принимаем смерть как конец жизни и задаёмся вопросом, что это означает. Поэтому возможность загробной жизни откладывается в сторону. Почти эстетический вариант также, кажется, исключён. Смерть, как мы видели, не придаёт жизни целостности. Она не реализует цель; она просто происходит. Более того, попытка превратить свою жизнь в произведение искусства, кажется, противоречит действию смерти. Мы видели, что смерть не связывает нити жизни; она просто их обрезает. Лучшая надежда для большинства жизней — это создание незавершённого произведения искусства. В конце почти каждой жизни останутся цвета или ноты, не доведённые до конца, темы, не полностью раскрытые. Красота целого будет утрачена.

Некоторые могут возразить, что существуют и другие способы, с помощью которых жизнь может обрести смысл. Например, она может быть посвящена благу других. Оба рассмотренных нами способа оценивают жизнь в её собственных терминах. Оба они судят о жизни в абстракции от её контекста. Возможно, нам нужно мыслить о значимости жизни по-другому. Важно не то, как жизнь оценивается в отношении к самой себе, а то, что она вносит в мир и, в частности, в жизнь других людей, населяющих этот мир. Возможно, первые два способа поиска значимости жизни слишком замкнуты на себе.

Я не хочу отрицать, что человеческая жизнь может обрести смысл через вклад в жизнь других. Моя цель здесь не в том, чтобы сказать, что смерть устраниет саму возможность того, чтобы наши жизни имели смысл. Скорее, я хочу указать на то, почему смерть, как кажется, наделяет наши жизни ореолом бессмыслицы. В этом контексте можно выделить два способа, которыми смерть бросает тень на перспективу нахождения смысла через вклад в жизнь других людей.

Первый связан с самими этими людьми. Если смерть делает жизнь такой же случайной и бессмысленной, как это было представлено в нашем недавнем, более мрачном резюме трёх тем, то моё стремление внести вклад в жизнь других в конечном счёте оказывается тщетным. Жизни других людей не более значимы, чем моя собственная. Вклад в них не может стать чем-то большим, чем предложением небольшого утешения. Это похоже на то, как если бы я делился едой с другим пассажиром на тонущем корабле. Жест может быть благородным, но он не делает ситуацию менее трагичной.

Чтобы это лучше понять, давайте перевернём ситуацию. Предположим, я смотрю на свою жизнь в свете смерти, как мы её описали. Я считаю, что моя жизнь завершается неизбежностью, которая преследует меня в каждый момент и чьё наступление уничтожит всё, что я построил. Что могут сделать другие, чтобы облегчить моё положение? Проблема не в том, что мне чего-то не хватает, и это можно восполнить за счёт других. Проблема в том, что я умру. И поскольку никто не может забрать мою смерть у меня, никто не может в значительной степени повлиять на мою жизнь.

Второй способ, которым смерть бросает тень на попытку жить, принося пользу другим, связан не столько с самими этими другими, сколько с нами самими. Сложно воспринимать смысл своей жизни исключительно через процветание других. Мы хотим ощущать, что наши жизни имеют значение сами по себе. Именно поэтому первые два способа придания жизни смысла — загробная жизнь и жизнь как произведение искусства — кажутся привлекательными. Даже если мы считаем эти способы создания значимости слишком эгоцентричными (хотя мы и не утверждаем, что они таковы), они всё же захватывают нечто центральное в нашем восприятии жизни. Нам не нужно быть эгоистичными или надменными, чтобы хотеть думать о своей жизни как о чём-то значимом, что нельзя свести только к нашему вкладу в жизнь других. Иными словами, большинство из нас не хотят воспринимать смысл своей жизни опосредованно: мы не хотим, чтобы наша жизнь была всего лишь средством для процветания других. Это не значит, что мы должны ставить себя перед другими или выше других. Мы можем вполне думать о себе наряду с другими. Мы — один из тех, кто ищет смысл. Значимость нашей собственной жизни не важнее, чем у других, но и не менее важна.

Если мы определяем свою жизнь исключительно через вклад в жизнь других, то упускаем этот аспект значимости. Возможно, для некоторых этот аспект не важен, но я сомневаюсь, что таких много. И среди них, вероятно, ещё меньше тех, кто не верит в загробную жизнь или в художественную ценность того, что они делают. Но если этот аспект важен, то мы снова сталкиваемся с той же проблемой бессмысленности, которую перед нами ставит смерть. Мы оказываемся перед лицом смерти, не обладая ресурсами для создания жизни, которая была бы значимой сама по себе, и поэтому не продвинулись в своей способности придать нашей смертной жизни смысл.

Говоря откровенно, двойная проблема, с которой сталкиваются те, кто пытается придать значимость смертной жизни через её вклад в жизнь других, заключается в том, что если другие смертны, то не существует подлинного вклада, и даже если бы он существовал, это не решило бы проблему того, как собственная жизнь могла бы обрести значимость, кроме как через этот вклад.

Мы можем понять, почему тема смерти чаще всего встречается через избегание. Она представляет угрозу для самой сути нашего понимания того, кто мы есть и как мы воспринимаем себя. Столкнувшись со смертью, большинство из нас, как выражается Хайдеггер, живут в режиме бегства от неё. В частности, мы бежим от того, что он называет "Angst" — тревоги или тоски, которую мы испытываем перед лицом смерти. Тоска — это то, что происходит с нами, когда мы сталкиваемся с тем, что он называет "возможностью нашей невозможности". Это ощущение сопровождает осознание того, что я неизбежно упаду в пустоту, что мой опыт закончится, и что у меня мало контроля над тем, когда и как это произойдёт, и никакого контроля над тем, произойдёт ли это вообще. Я немного расширил идею Хайдеггера здесь. Это не только сама смерть, но и бессмысличество, которая, кажется, вытекает из неё, что вызывает у нас тоску.

Мы предпочли бы не сталкиваться со смертью и тем чувством тревоги, которое она вызывает. Поэтому мы выбираем такие способы жизни, которые удерживают осознание смерти на расстоянии. Хотя люди — существа, осознающие свою смертность, мы обычно ведём себя так, как будто этого осознания у нас нет. Мы живём так, как будто смерть и угроза бессмысличины нас не касаются. Марк Аврелий, римский император и стоический философ, как и другие древние философы, стремился держать идею смерти перед собой, чтобы лучше организовать свои повседневные дела. Мы ещё вернёмся к подходу Аврелия к смерти, но сейчас стоит признать, что для многих древних философов факт смерти как центрального элемента человеческого существования нуждается в осмыслиении, если человек хочет прожить достойную жизнь. Ведь достойную жизнь не может прожить тот, кто находится во власти иллюзии.

Конечно, большинство современников Аврелия, так же как и большинство из нас, не пытаются интегрировать свою смертность в жизнь. Мы стремимся как раз к тому, чтобы отделить её от нашей жизни. У нас есть множество способов сделать это. В основном мы просто игнорируем смерть. Мы планируем будущее, как будто смерти не существует. Мы ведём себя так же, как другие животные, чьё осознание смерти проявляется только при непосредственной угрозе. Мы в каком-то смысле знаем, что умрём. Мы знаем, что наша смерть станет нашим концом, что смерть не является достижением или целью, и что она одновременно неизбежна и неопределенна. И всё же мы суетимся с этим знанием, как будто оно не имеет к нам никакого отношения. Смерть, когда она наступает, всегда становится шоком, ударом извне, а не центральной возможностью человеческого существования. Мы реагируем на смерть — то есть на смерть других — так, как будто это

что-то, что происходит с ними, а не что-то, что является частью их сущности. Если бы мы видели это как последнее, нам пришлось бы признать себя смертными. Для большинства из нас, по крайней мере, большую часть времени, это слишком тяжело, чтобы принять.

Когда мы не игнорируем смерть, мы стараемся уменьшить её влияние. Если какая-либо из религиозных традиций, которые мы обсуждали ранее, является истинной, то влияние смерти, безусловно, смягчается, потому что мы на самом деле не умираем. Наши тела погибают и разлагаются, но наша сущность остаётся нетронутой. Мы не теряем свои души и, следовательно, в некотором смысле сохраняем свой опыт, свою индивидуальность. Однако, независимо от того, истинны ли эти традиции, вера в них достаточна, чтобы держать на расстоянии ту тоску, которую вызывает смерть. Это одна из сил веры. Она позволяет человеку принять утешение, которое предлагает религия, даже при отсутствии окончательного доказательства или опровержения её доктрин.

Конечно, у этих защит от угрозы смерти есть свои слабости. Мы можем игнорировать смерть большую часть своей жизни, но её признаки повсюду вокруг нас. Она не перестаёт нас преследовать, даже когда мы накрываемся одеялом с головой. Сам факт, что у нас есть так много способов укрыться от неё, сам по себе свидетельствует о вездесущности смерти. И религия, поскольку для большинства она является предметом веры, не может полностью уверить верующих в том, что всё будет хорошо. Вера борется с сомнением, давая смерти возможность проникнуть. Вера может противостоять смерти, но сомнение позволяет смерти нанести ответный удар.

Кажется, что в конечном счёте может быть только два средства от центральной роли, которую смерть и вызываемая ею тоска играют в нашей жизни. Поскольку быть человеком — значит осознавать смерть, мы могли бы надеяться вернуться к состоянию менее сознательному, менее осведомлённому. Став чем-то иным, чем человек, чем-то с меньшей когнитивной способностью, мы могли бы жить так, как будто смерти не существует. Это избавило бы нас от власти смерти: не над нашими жизнями, но хотя бы в их пределах. Немногие из тех, кто размышлял о смерти, приняли эту возможность. Вероятно, это потому, что большинству из нас было бы невыносимо стать кем-то иным, чем человеком. Большинство из нас считают это иное чем-то меньшим. Мы бы воспринимали переход к менее осознанному способу существования как шаг или два назад по эволюционной шкале. Я избегаю такой риторики по двум причинам. Во-первых, технически не существует эволюционной шкалы. То, что адаптивно в одной среде, может быть неадаптивно в другой. Поэтому то, что кажется эволюционным прогрессом в одной ситуации, выглядело бы совсем иначе, если бы условия окружающей среды изменились. Во-вторых, и отчасти из-за этого, говорить об ином как о чём-то меньшем — это проявлять ненужное неуважение к нечеловеческим животным. Поскольку я недавно стал вегетарианцем, мне было бы неуместно проявлять такое неуважение. Тем не менее перспектива стать чем-то отличным

от человека с полным человеческим сознанием — это то, что немногие из нас поддержали бы как средство от осознания своей смертности.

Другое средство не было бы лекарством от осознания смерти. Это было бы лекарство от самой смерти. Если бы мы были бессмертны, если бы мы не умирали, то всё, что преследует нас в жизни из-за смерти, немедленно исчезло бы. Нам не пришлось бы беспокоиться о конце нашего опыта, потому что наш опыт никогда бы не закончился. Проблемы зрелости и целостности в конце жизни не возникли бы. Смерть не была бы неизбежной и неопределенной, потому что её просто не существовало бы. Следовательно, проблемы бессмыслицы, связанные со смертью, не стали бы для нас поводом для беспокойства. В отличие от возможности не осознавать смерть, многие размышляли о бессмертии. Или, по крайней мере, как мы увидим, пытались размышлять о бессмертии. Бессмертие, несомненно, решило бы проблему смерти. Но придало бы оно смысл нашей жизни? Стало бы нам лучше без смерти? Размышляя над проблемой смерти, над проблемами, которые она ставит перед нами, мы можем прояснить свои взгляды, сопоставив смерть с бессмертием. Мы можем спросить, или, по крайней мере, попытаться спросить, чем бессмертная жизнь могла бы отличаться от смертной жизни, которая является нашей участью. При этом мы могли бы увидеть смерть и её роль в нашей жизни под другим углом. Возможно, этот другой угол зрения принесёт новые прозрения, которые мы сможем использовать, чтобы встретить тот факт, что в конечном счёте каждый из нас действительно умрёт.

ГЛАВА 2. СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ

В новелле "Бессмертный" аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес рассказывает историю Иосифа Картафил. Точнее, сам Картафил рассказывает свою историю, а Борхес выступает лишь в роли повествователя, создающего атмосферу. Картафил описывает свою жизнь в древних Фивах и встречу с человеком, который искал реку в Египте, "очищающую людей от смерти". Человек вскоре умирает, но Картафил решает сам отправиться на поиски этой реки, за которой, по легенде, лежит величественный Город Бессмертных. Он возглавляет группу людей, намеренных найти реку, но вскоре они поднимают мятеж, и Картафилу приходится бежать. Однажды ночью он засыпает, а просыпается уже связанным, мучимый невыносимой жаждой. Он замечает внизу маленький, затхлый водоём и бросается в него. Жажда утолена, но Картафил так ослаб, что не может двигаться. Проходят дни, но он не знает, сколько именно.

В это время его окружают существа, которых он называет троглодитами — высохшие, согбенные люди, лишённые речи, "поедающие змей". Они не помогают ему, а просто наблюдают за его мучениями. Со временем Картафил освобождается и отправляется в путь к Городу Бессмертных. Он бродит среди троглодитов, надеясь, что на окраинах их территории он найдёт великий город. Но вместо этого он наталкивается на огромный

лабиринт, больше напоминающий руины. За ним постоянно следует один из троглодитов, которого Картафил называет Аргосом, в честь собаки Одиссея из «Одиссеи». Однажды троглодит заговорил, рассказав Картафилу об Аргосе. Картафил спрашивает троглодита, что ему известно об «Одиссее», и тот отвечает, что он её и сочинил. Аргос Картафила на самом деле был Гомером.

Троглодиты оказываются бессмертными, а Город Бессмертных — это те самые руины, по которым блуждал Картафил. Испив воды из реки у подножия города, Картафил сам становится бессмертным. Впоследствии он записывает свои приключения, хотя его удивляет и тревожит их неполнота. История заканчивается постскриптулом, который ставит под сомнение достоверность этих записей, но повествователь защищает их, утверждая, что это бессмертие слов.

Однако, что особенно важно для нас, так это описание троглодитов и Города Бессмертных, которое даёт Картафил. Он пишет, что лабиринт, по которому он блуждал, заменил прежний, более величественный город. Бессмертные снесли город и построили лабиринт как своего рода пародию на религию, где иррациональность его проходов противопоставлена рациональности, которую смертные приписывают богам. Более того, лабиринт был последним великим проектом, предпринятым Бессмертными: для них он "означает этап, на котором, решив, что все начинания тщетны, они решили жить лишь мыслями, чистыми размышлениеми. Они возвели своё строение, забыли о нём и ушли жить в пещеры".

Почему для Бессмертных все начинания тщетны? С бесконечным временем для существования всё случится само собой. Нет ничего, чего бессмертное существо не сможет сделать, и на самом деле нет ничего, чего оно в конце концов не сделает. Картафил пишет: "Гомер написал «Одиссею»; если мы постулируем бесконечное время с бесконечными обстоятельствами и изменениями, невозможным становится не написать «Одиссею», хотя бы однажды". Если ты собираешься жить вечно, у тебя буквально есть время на всё.

Это объясняет, почему Бессмертные решили жить в мире чистых мыслей, а не в физическом мире. Для смертных, как мы видели, жизнь полна беспокойства. То, что происходит, хрупко. Это могло бы и не произойти. Или могло произойти без нашего участия. Это могло бы случиться в другом месте, до или после нашей жизни. События нашей жизни, как хорошие, так и плохие, обладают неотложностью, которой нет у Бессмертных. Бессмертный не переживает о том, что что-то упустит. У него всегда есть время это пережить. Более того, у него есть время переживать это снова и снова. Для тех из нас, кто умрёт, моменты нашего существования уникальны. Для Бессмертных же существует лишь повторение: как объясняет Картафил, "для Бессмертных каждый поступок (и каждая

мысль) — это лишь эхо того, что произошло в прошлом, без видимого начала, или предсказание того, что в будущем повторится бесчисленное количество раз".

Именно поэтому физический мир не интересует Бессмертных. Если они ещё не видели всего, то когда-нибудь обязательно увидят. Нет ничего, к чему стоит стремиться, ни одного поступка, который бы придавал смысл. Мир просто развивается, где хорошее сменяет плохое, а плохое — хорошее. С точки зрения бесконечного времени, между добром и злом почти нет разницы. Поэтому, вместо того чтобы пытаться достичь чего-то в этом мире, Бессмертные уходят в мир чистых размышлений. Можно отметить, что, имея достаточно времени, даже чистые размышления тоже станут повторяющимися. Однако, на мой взгляд, здесь речь идёт не столько о самом процессе размышления, сколько о полном отказе от действия. Они размышляют не как мыслители, а как зрители. Они наблюдают за происходящим, не проявляя особого интереса к происходящему.

Но почему они построили лабиринт, который словно высмеивает религию? Почему Бессмертные создают пародию на религию, возводя монумент иррациональности? Для большинства религий важна разница между добром и злом. Смертность придаёт смысл событиям нашей жизни, а мораль помогает нам разобраться в этом смысле. Если жизнь ограничена во времени, то важно, как ты её проживаешь и какие поступки совершаешь. Именно это побуждение религии — сделать жизнь значимой и прожить её достойно. И это не противоречит тому, что мы обсуждали в первой главе: религия стремится наделить человека бессмертием. Даже если ты переживёшь свою смерть, ты не переживёшь свою земную жизнь, или, в случае с буддизмом, свою конкретную земную жизнь. Каждая жизнь — это испытание для следующей. Это придаёт смысл и значимость текущей жизни. В этом смысле религия пытается совместить оба аспекта: с одной стороны, эта жизнь имеет смысл как прелюдия к следующей, но с другой — существует бессмертие продолжения существования.

Для Бессмертных нет ни такого смысла, ни такой значимости, потому что их бессмертие существует прямо здесь, в этой жизни. Эта жизнь не является ни испытанием, ни прелюдией. Она — всё, что есть. И без ограничений эта жизнь не может обрести тот смысл, который религия находит в ней. В результате вселенная кажется менее рациональной, чем в религии смертных существ. Смысл, который религия находит в жизни, не существует для Бессмертных. Без смысла бессмертная жизнь становится иррациональной. Боги, создавшие вселенную, кажутся менее склонными сотворить упорядоченную вселенную, где всё имеет своё место, и скорее создали вселенную без цели или смысла. В этой вселенной ты будешь бродить бесцельно вечно, снова и снова пересекаясь с теми же событиями, которые не складываются в какую-то определённую картину. Что может лучше отразить это, чем создание лабиринта, ведущего в никуда?

История Борхеса оставляет много пищи для размышлений, и я лишь поверхностно коснулся её интерпретации. Если мы всерьёз задумаемся над идеей бессмертия, нам нужно будет систематически разобраться в некоторых из выделенных нами аспектов. Конечно, размышлять о бессмертии сложно. Это неизбежно спекулятивно. И, учитывая идеи, которые мы рассматривали в первой части книги, несложно понять, почему. Если, как я утверждал, смерть является центральным фактом человеческой жизни, то сложно представить себе жизнь без неё. В каком-то смысле бессмертная жизнь уже перестаёт быть человеческой жизнью. Борхес захватывает эту мысль, описывая Бессмертных как троглодитов.

Тем не менее, помимо факта смертности, мы сталкиваемся с трудностью принятия смерти. Люди, осознающие свою конечность, также отягощены этим знанием. Мы не хотим умирать. Однако желание не умирать — это не совсем то же самое, что желание бессмертия. Чтобы понять разницу, нам нужно более тщательно исследовать природу бессмертия.

Возможно, лучше всего начать с характеристики, которая является ключевой для человеческого отношения к смерти. Люди не единственные существа, которые умирают: все организмы рано или поздно погибают. Мы являемся существами, которые знают, что умрут, и осознают это всю свою жизнь, даже когда не находятся в непосредственной опасности. Возможно, другие существа тоже это понимают, но мы точно это знаем. Если взять эту характеристику и применить её к бессмертию, можно задаться вопросом о бессмертии с осознанием этого факта и без него. Иными словами, мы можем представить себе бессмертных людей как минимум двумя способами. Во-первых, можно попытаться представить бессмертных людей, которые не осознают своего бессмертия. Затем можно представить бессмертие с полным осознанием этого факта.

Для Джозефа Картафилуса отсутствие осознания смерти само по себе является своего рода бессмертием. Однако это отличается от того бессмертия, о котором человек осведомлён. «Быть бессмертным — это обычно; за исключением человека, все существа бессмертны, ибо они не ведают о смерти; что же божественно, страшно и непостижимо — так это знать, что ты бессмертен». Давайте сначала обратимся к этому бессмертию без осознания. Здесь Картафилус говорит не о бессмертии без осознания своей бессмертности. Он говорит о смертности без осознания своей смертности, приравнивая её к бессмертию. Как же происходит это приравнивание?

С этой точки зрения, смерть овладевает нами только тогда, когда мы осознаём её. Разумеется, это не значит, что для того, чтобы умереть, нам нужно осознавать сам процесс умирания. Скорее, речь идёт о том, что смерть не станет частью нашего существа, если мы не осознаём факт нашего умирания. В некотором смысле, без этого осознания мы не были бы смертными существами: мы не были бы существами, для которых их смертность

является важным аспектом. Если же этот факт действительно центральный для нас, то это как раз из-за нашего осознания.

Можно считать, что утверждение, будто животные, не осознающие смерть, являются бессмертными, несколько преувеличено. Однако можно сказать, что они, по крайней мере, в каком-то смысле несмертны. Они умирают, но их смерть не является фактом, который формирует то, кем они являются.

Можем ли мы рассматривать бессмертие человека без осознания именно в таком ключе? Можно ли утверждать, что если бы люди были бессмертны, но не осознавали этого, они в каком-то смысле были бы скорее несмертными, а не бессмертными? Я думаю, что провести такую аналогию так быстро не получится. Если осознание своей смертности — это центральный факт о нас, то трудно представить, какими бы мы были без этого осознания. Что-то важное для нашей человечности исчезло бы, если бы мы утратили сознание своей бренности. Означает ли это также, что мы не можем представить себе бессмертие человека без осознания? И что такое состояние перестало бы быть человеческим?

Я подозреваю, что это, вероятно, правда, или близко к тому. Можно рассуждать так. Частично то, что придаёт смерти значимость, заключается в том, что, как мы уже видели, люди проецируют свою жизнь в будущее. Мы строим планы, берём на себя обязательства, развиваем отношения — всё с оглядкой на то, как они будут развиваться и изменяться в будущем. Наше осознание смертности придаёт этим планам, обязательствам и отношениям определённую хрупкость. Дело не в том, что мы не участвуем в этих процессах, но мы участвуем в них, зная, что нас преследует смерть.

Теперь давайте представим ситуацию с бессмертием. Мы по-прежнему будем направлять свои усилия в будущее, но это будущее уже не будет выглядеть так же. Оно не будет омрачено хрупкостью, которую приносит смерть, и не будет связано с тем чувством срочности, которое возникает, когда понимаешь, что время ограничено. Мы будем участвовать в своих начинаниях, не обращая внимания на эти параметры.

Если бы на этом всё и закончилось, мы действительно были бы «несмертными» в том смысле, который описан выше. Бессмертие не играло бы никакой роли в нашей жизни. Но трудно представить, чтобы это было всё. Чтобы проецировать будущее таким образом, как это делаем мы, необходимо иметь хоть какое-то представление о форме этого будущего. Мы знаем, или, по крайней мере, думаем, что знаем, как оно будет выглядеть в общих чертах. Это не означает, что мы можем предсказать будущее. Но есть определённые вещи, которые мы можем о нём сказать. Британский философ XVIII века Дэвид Юм утверждает, что люди предполагают, что будущее будет похоже на прошлое в том смысле, что кажущиеся причинные связи будут сохраняться. Если материальные тела, по-видимому,

удерживаются вместе силой гравитации, то в ближайшем будущем это внезапно не прекратится.

Бессмертие подобно причинности в этом смысле. Так же, как мы предполагаем, что то, что кажется причинными связями в нашем мире, будет продолжать действовать, если бы мы были бессмертны, мы бы жили так, как если бы будущее разворачивалось бесконечно. Мы строили бы свои планы, брали на себя обязательства и развивали отношения, исходя из того, что будущее будет развиваться вечно. И разве это не осознание бессмертия?

Точка, на которой я настаиваю, заключается в том, что осознание смерти для человека не существует в изоляции. Мы увидели это в первой главе. Призрак смерти возникает из самого способа нашего существования, пронизывая наши обязательства и планы. Если бы люди не обладали способностью проектировать свою жизнь в будущее, роль смерти была бы совершенно иной. То же самое можно сказать и о бессмертии. Способность проецировать своё будущее, как это делают люди, требует хотя бы в самых общих чертах понимания того, каким это будущее может быть. Кажется неизбежным, что существа, которые ориентируются на будущее, как это делают люди, будут осознавать, закончится ли это будущее или нет. Мы либо осознаем свою смертность, либо свою бессмертность.

(Здесь можно продвинуть эту мысль как минимум в двух направлениях. Во-первых, можно задать вопрос, проецируют ли другие существа, помимо человека, своё будущее так же, как мы, и могут ли они быть осведомлены о своей смертности или, как в нашем случае, о своей бессмертности. Я не хочу отрицать, что это возможно. Мне кажется, что эволюция могла бы создать существа, которые осознанно воспринимают своё будущее и, следовательно, каким-то образом осознают смерть. Шимпанзе или, возможно, дельфины могли бы принадлежать к этой категории. Моя цель не состоит в том, чтобы доказать, что человек кардинально отличается от всех других животных в отношении осознания смерти. Я сосредотачиваюсь на нашем, человеческом, отношении к смерти. Если окажется, что есть другие животные с подобной осознанностью, это могло бы показать более глубокую связь между нами и этими существами.

Другой путь заключается в том, чтобы задаться вопросом, что было бы, если бы люди не проецировали своё будущее таким образом, как мы это делаем. Я считаю, что это был бы менее интересный маршрут для исследования. Для этого нам пришлось бы представить людей без какого-либо отношения ни к смерти, ни к бессмертию, а также без отношения к будущему их обязательств. Существа такого рода уже мало чем напоминали бы нас. Мы могли бы поинтересоваться, как выглядела бы их жизнь в условиях бессмертия, но это не помогло бы нам размышлять о нашей собственной связи со смертью и о том, как люди её осознают. К тому же, учитывая, насколько отличались бы такие существа, не ясно, смогли бы мы вообще далеко продвинуться в понимании их жизни.

Таким образом, у нас остаётся лишь один реальный вариант воображения: представить себе людей, которые одновременно бессмертны и осознают свою бессмертность. Нам нужно спросить, каково это — быть нами, такими, какие мы есть, с одной ключевой переменой: мы не умрём. Конечно, это обстоятельство изменило бы многое в нас. Но нас интересует, как именно бессмертие изменило бы нас и наше восприятие. Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассматриваем себя такими, какие мы есть, добавляем лишь этот один элемент и затем спрашиваем, что изменилось. Бессмертие становится переменной, которую мы подставляем в уравнение, и смотрим, что произойдёт с уравнением.

При этом следует различать бессмертие и то, что часто называют вечностью. Иногда эти два термина используют одинаково, но не всегда. Когда их различают, бессмертие — это жизнь через время, тогда как вечность — это существование вне времени. Бессмертный человек живёт всегда, а вечность предполагает иммунитет ко времени, пусть даже на мгновение. Наш интерес здесь — именно в бессмертии, а не в вечности. Вечность может быть свойственна как смертным, так и бессмертным существам, как нечто вроде мгновения, выходящего за пределы времени. И если мы думаем о вечности в контексте загробной жизни, то возвращаемся к религиозным традициям, которые рассматривали в первой главе.

Рассуждая о бессмертии, есть ещё одно препятствие, которое нам нужно преодолеть. Недостаточно просто представить нас бессмертными; нужно спросить, как именно мы становимся бессмертными. Нам необходимо обратиться к вопросу старения. Человеческая жизнь, если она не прерывается преждевременно, предполагает как физическое развитие, так и последующий спад. При этом физическое развитие не всегда идет параллельно с эмоциональным или интеллектуальным ростом. Многие из нас, хотя далеко не все, становятся эмоционально более устойчивыми по мере того, как наше тело утрачивает свою силу. А интеллектуальное развитие вообще не зависит ни от физического, ни от эмоционального. Например, считается, что пик музыкального и математического творчества приходится на более ранние годы, тогда как философское мышление достигает своего расцвета позже. Более того, все эти утверждения являются общими наблюдениями. В моем случае, к примеру, физическое развитие резко замедлилось в конце юношеского периода и не восстановилось до середины сорокалетия. Это связано с тем, что я получил травму спины в шестнадцать лет, и потребовалось около двадцати пяти лет, прежде чем я смог вернуть себе прежнюю спортивную форму. Спешу заметить, что это было не из-за тяжести травмы: у меня была грыжа межпозвоночного диска, которую теперь можно вылечить простой амбулаторной процедурой. Проблема заключалась в недостатке знаний о том, как правильно лечить и восстанавливаться, из-за чего я вел более малоподвижный образ жизни, чем следовало бы, в течение многих лет.

Тем не менее, если мы рассматриваем вопрос бессмертия, необходимо зафиксировать параметры человеческого развития, чтобы получить ясное представление о том, что мы

хотим представить. Персонаж Борхеса Джозеф Картатилиус не дает нам в этом отношении никаких подсказок. Он, кажется, достаточно взрослый для размышлений, но о его физическом состоянии ничего не говорится. В отличие от него, в «Путешествиях Гулливера» Джонатан Свифт описывает расу бессмертных людей — струдбругов. Струдбруги не умирают, но продолжают стареть. Их жизнь до тридцати лет ничем не отличается от обычной человеческой, но затем начинается физический спад, который продолжается, приводя к слепоте и другим недугам старости. Однако они остаются живыми. Более того, их бессмертие угрожает окружающим: те боятся, что со временем и в силу старческой жадности струдбруги смогут заполучить все социальные ресурсы. Поэтому в возрасте восьмидесяти лет их имущество автоматически передается наследникам, и они считаются юридически мертвыми.

Описывая бессмертие таким образом, Свифт явно делает его непривлекательным. Однако нам не обязательно представлять бессмертие как непрерывный физический упадок. То, как его следует вообразить, зависит от того, что именно мы хотим исследовать. Вернемся к главному вопросу этой части книги, который возник на основе предыдущей главы. Смерть, как нам кажется, является для нас злом. Ее финальность, отсутствие целей и неизбежность в сочетании с неопределенностью приводят к тому, что мы начинаем ощущать свою жизнь лишенной смысла. Исходя из этого, возникает вопрос: не лучше ли было бы не умирать?

С таким мотивом, вероятно, лучше не представлять себя в положении струдбругов. Желая продолжить жизнь, мы не стремимся просто к биологическому существованию. Дело не только в том, чтобы наша кровь продолжала циркулировать, а конечности двигаться. Это не сводится лишь к тому, чтобы стать сторонним наблюдателем мира. (Хотя, как мы видели в первой главе, быть наблюдателем иногда имеет свои преимущества. Об этом упоминал философ Нагель, и я пытался передать это на примере пробуждения после дневного сна и наслаждения игрой цветов листьев на фоне неба.) Это также вопрос продолжения участия в наших планах, обязательствах и отношениях. Смерть угрожает, в значительной мере, именно этим аспектам нашей жизни: постоянному вовлечению в те нити, которые составляют наше индивидуальное существование, и проекцию их в будущее. Как мы видели в первой главе, смерть обрывает наше будущее, оставляя эти нити разбросанными. Более того, это может произойти в любой момент. И, наконец, мы знаем это, даже если скрываем от себя, на каждом шагу.

Если мы представляем бессмертие как лекарство от смерти, оно должно быть таким, которое позволит нам оставаться полными жизни: оно должно хотя бы поддерживать нашу физическую силу и оставлять место для эмоционального и интеллектуального развития. Это не может быть вечным детством, в котором мы не осознаем всех возможностей, которые может предложить человеческая жизнь, и не может быть состоянием дряхлости, в котором мы не в состоянии заниматься теми делами, которые составляют сущность активной жизни.

Здесь можно обозначить некоторые параметры, хотя ваши интуиции могут отличаться от моих. Я представляю человека в его ранних или середине тридцатых лет, возможно, даже немного старше — в конце тридцатых. Для кого-то это может показаться слишком зрелым возрастом: пик физической и интеллектуальной формы может приходиться на середину двадцатых. Признаюсь, что моя точка зрения может быть искажена моим собственным физическим спадом в двадцатилетнем возрасте и тем, что сейчас мне за пятьдесят. Однако мы можем не притираться к мелочам. Мы можем представить бессмертие как нечто, поддерживающее нас на уровне между двадцатью пятью и тридцатью пятью годами, плюс-минус. Важнее всего то, что бессмертие дает нам то, чего смерть нас лишает: возможность продолжать развивать наши планы, обязательства и отношения. Это, по-видимому, то место, где находится Джозеф Картатилиус из Борхеса, хотя сам автор этого явно не утверждает.

Стоило бы такое бессмертие того, чтобы его иметь? Оно, по крайней мере, обладает некоторыми изначально привлекательными чертами. Во-первых, и, пожалуй, самое важное, оно позволяет нам думать о продолжении тех нитей, которые составляют нашу жизнь, без того, чтобы они были прерваны. Можно было бы посвящать себя своим отношениям, не опасаясь смерти одного из участников этих связей. Можно было бы проводить время в разлуке с любимым человеком, не раздумывая о том, какую цену придется за это заплатить. Возможность вернуться всегда, по крайней мере с точки зрения времени, оставалась бы открытой. Это не значит, что сами отношения не изменялись бы или не нуждались бы в реорганизации. Опыт, полученный в разлуке, возможно, нужно было бы интегрировать в отношения. В крайнем случае, этот опыт может даже поставить отношения под угрозу. Роман может угрожать любви, а путешествия могут сделать бывшего друга казаться слишком провинциальным. Однако, если существует взаимное желание, всегда была бы возможность вернуться к этим отношениям, возможно, даже обогащенным временем, проведенным отдельно.

В древнем Китае людей, готовившихся к роли бюрократов, обучали вместе. Они создавали глубокие и прочные дружеские связи, такие, которые формируются, когда люди чувствуют, что встретили своих интеллектуальных и социальных ровесников. Однако по окончании учебы этих бюрократов рассыпали по разным уголкам Китая, чтобы они исполняли свои обязанности. Для многих из них самые значимые отношения в их жизни были именно теми, которые возникли в годы обучения. На протяжении своей карьеры они писали друг другу письма, обсуждая в них планы создания каменного сада. Эти китайские чиновники на протяжении всей своей жизни проектировали и изменяли планы каменного сада, в котором они собирались жить вместе после выхода на пенсию. Они выбирали место для сада, проектировали здания и заказывали его строительство. Это было способом сохранять общую цель и обещанием будущей встречи после многих (часто одиноких) лет службы в дальних уголках китайской империи.

Существуют современные аналоги этой практики, хотя они редко реализуются. Например, когда-то мои старые друзья говорили о том, чтобы обзавестись общей квартирой, большим лофтром в Нью-Йорке, куда мы могли бы все переехать на старости лет или хотя бы приезжать время от времени. Но с годами эти разговоры затихли. Дети забирают время и силы, карьеры растут, а город, в котором мы выросли, для тех из нас, кто уехал по тем или иным причинам, становится скорее мечтой о прошлом, чем реальной целью на будущее.

Почему возникают такие мечты? Некоторые моменты в нашей жизни, периоды, через которые мы прошли, обладают для нас особым значением. И значительная часть этой значимости связана с теми людьми, с кем мы делили это время. Мы формировали отношения, которые имели для нас важность. Во многих случаях они все еще значимы, даже если сами отношения больше не существуют. Древние китайские бюрократы понимали как уникальность этих связей, так и их уязвимость перед расстоянием. Совместное проектирование каменного сада было способом сохранить отношения в рамках общего дела и одновременно обещанием будущего возвращения к чему-то вроде того времени, когда эти отношения зародились.

Бессмертие сделало бы такие планы излишними, так как всегда оставляло бы дверь открытой для возобновления отношений. Не было бы нужды планировать старость, потому что старости просто не было бы. Не нужно было бы даже назначать время для встреч, ведь время всегда было бы в достатке. Возможно, накопленный опыт разделил бы интересы людей в разные стороны, и общее пространство больше не казалось бы столь привлекательным. Но это не вина бессмертия. Отдаление друг от друга происходит с нами, смертными, постоянно. Оно не стало бы более вероятным, будь мы бессмертными. Мы получили бы доступ к тому, что искали древние китайские чиновники, с тем отличием, что это можно было бы сделать в любое время и в любом месте, при благоприятных обстоятельствах. Кроме того, исходя из предположения, что бессмертие не приводит к физическому старению, у нас было бы достаточно энергии для того, чтобы развивать эти отношения, когда мы бы возобновили их.

Мы обсудили один аспект бессмертия: оно защищает нити нашей жизни от обрыва. Это в значительной мере снимает озабоченности, связанные со смертью, которые мы затронули в первой главе. Бессмертие устранило бы тревоги, связанные со второй и третьей темами, обсуждавшимися ранее. Оно позволило бы завершить все проекты, при условии благоприятных обстоятельств. По крайней мере, оно не помешало бы их реализации из-за нехватки времени. Конечно, далеко не каждый из нас сможет стать великим баскетболистом или поэтом, даже имея бесконечное количество времени. Но вторая тема касалась не любых начинаний, а тех проектов, которыми каждый из нас реально занят. Эти проекты можно было бы довести до их логического успеха или провала.

Третья тема касалась неопределенности и неизбежности смерти, а также того, как это угрожает нашим жизням. Бессмертие положило бы конец этой угрозе, ведь единственная неизбежность, с которой мы столкнулись бы, заключается в том, что смерть не наступит. Поскольку эта угроза была связана с преждевременным обрывом нитей нашей жизни, обсуждаемый аспект бессмертия устранил бы и эту тревогу.

Существуют и другие привлекательные аспекты бессмертия, хотя центральные из них связаны с тем, о чем мы только что говорили. Еще один аспект, заслуживающий внимания, связан с выбором. По мере того как мы стареем, мы учимся, что не можем быть всем, кем бы нам хотелось стать. Мы вынуждены делать выбор. Я, например, хотел бы стать писателем, и даже написал пару рукописей. Однако я не мог одновременно быть и писателем, и философом, а обстоятельства привели меня к последнему. (Я знаю, что есть те, кто справляется с обоими задачами, но они обладают навыками, которых у меня нет.) В какой-то момент все мы отказываемся от возможных будущих путей: невозможно одновременно следовать двум карьерам; мы должны заботиться о хлебе насущном; и для многих из нас одно событие ведет к другому. Однажды мы просыпаемся, вспоминая, что когда-то мечтали стать музыкантом, открыть кафе или путешествовать по стране, подрабатывая случайными заработками. И по той или иной причине становится слишком поздно.

Если бы мы были бессмертными, мы не сталкивались бы с такими решениями. Наши жизни не были бы ограничены теми решениями, которые мы принимаем, потому что мы могли бы принимать другие. Я мог бы сначала быть философом, а потом писателем. Я мог бы отправиться на велосипеде из Нью-Йорка в Аризону, как когда-то мечтал. Недомогание и смертность не накладывали бы на меня необходимость выбора. В этом смысле бессмертие устранило бы одну из величайших печалей жизни — сожаление. Конечно, оно не устранило бы всех сожалений. Например, я все равно мог бы сделать что-то, о чем позже бы сожалел. Однако существует определенный и разрушительный вид сожалений, который бессмертие бы устранило. Мой учитель однажды сказал, что самое грустное в жизни, помимо того, что родителям приходится хоронить своих детей, — это лежать на смертном одре и сожалеть. Вы понимаете, о каких сожалениях он говорил. Не о том, кем или чем можно было бы стать. Часто мы не можем контролировать, кем или чем станем. Он имел в виду те сожаления, которые возникают, когда мы не пытались стать тем, кем могли бы быть. Провалиться в чем-то, чему ты учишься или готовишься, — это разочарование. Но оно меркнет по сравнению с сожалением о том, что ты даже не попробовал.

Будь мы бессмертными, мы не испытывали бы таких сожалений. (В качестве побочного эффекта мы также не беспокоились бы о том, что мой учитель назвал самой печальной вещью в жизни, если бы бессмертие стало общим человеческим состоянием.) Всегда было бы время попробовать что-то новое. Или, лучше сказать, как мы уже видели в вопросе о реализации своих проектов, у нас всегда была бы возможность это сделать, при благоприятных обстоятельствах. Мы не смогли бы, например, стать классическим музыкантом, если бы классическая музыка исчезла из культуры. И это могло бы вызывать сожаление. Можно представить бессмертное существо, жившее триста лет назад, которое через триста лет после этого будет сожалеть о том, что не посвятило себя классической музыке. Но если не брать в расчет такие ситуации, сожаления не играли бы той роли в бессмертной жизни, какую они играют в наших смертных жизнях.

Таким образом, бессмертие, как минимум, позволило бы нам продолжать нити нашей жизни, заниматься тем, что характеризует человеческое существование, и притупило бы остроту определенного рода сожалений. Выходит, что бессмертие улучшило бы нашу жизнь в важнейших аспектах. Бессмертная жизнь, преодолев трудности, связанные со смертью, сделала бы нашу жизнь более осмысленной. Или, по крайней мере, так кажется.

Мы пока не в полной мере осознали временной аспект бессмертия. Мы еще не примирились с тем, насколько долго оно действительно длится. В конце концов, бессмертие — это бесконечное количество времени. Мы уже рассмотрели, как бессмертие обходит проблему финальности, которую приносит смерть. Смерть отсекает наши возможности, как уже начатые жизненные проекты, так и те, за которые мы могли бы еще не взяться. Однако устранение финальности — это лишь один аспект бессмертия. Другой аспект, который может стать испытанием для нас как людей, заключается в том, что наша жизнь будет продолжаться снова и снова.

Начнем с воображения этого процесса, начиная с проблемы сожаления. Одно из того, чему мне хотелось бы посвятить больше времени, — это изучение музыки, а именно джазового саксофона. В начале сорокалетия я начал заниматься джазовым саксофоном несколько лет. Я никогда не был особенно хорош в этом, но мне удалось несколько раз выступить с местной группой. Мне неплохо удавалась импровизация, но моя проблема заключалась в том, что я играл свои соло ровно по ритму. В джазе нужно играть немного с запозданием, именно это придает музыку "swing". Я так и не научился играть с задержкой. Возможно, дело в моей личности. Я достаточно педантичен, чтобы сама идея оказаться "позади" в чем-либо вызывала у меня беспокойство. Смог ли бы я преодолеть это, я так и не узнал. Группа, с которой я играл, распалась, и возможности играть с другими больше не представлялось. В конце концов я продал свой саксофон и использовал деньги на поездку с собачьими упряжками в Арктике. (К слову, в конце своей короткой карьеры я играл на Selmer Mark VI — модели Джона Колтрейна. Я выгодно его приобрел.)

У меня нет особых сожалений по поводу того, что я больше не играю на саксофоне, и я не думаю, что буду на смертном одре размышлять о том, что бы я мог достичь, если бы продолжал. Кроме того, уверен, вы можете вспомнить такие же занятия или хобби. Они больше, чем просто прихоть, но не доходят до уровня важных обязательств. Теперь давайте предположим, что я был бы бессмертным. В какой-то момент я, вероятно, вернулся бы к саксофону. Может быть, я научился бы играть с запозданием. Маловероятно, что я стал бы по-настоящему хорош в этом, но представим, что это произошло. Допустим, я смог бы играть профессионально некоторое время. В какой-то момент этого было бы достаточно: я не знаю, когда, но рано или поздно. Для меня, вероятно, десяти-двадцати лет хватило бы. Но вы можете продлить этот срок на сколько угодно. Конечно, за тысячу лет мне бы наскутило играть. В конце концов, это не одна из главных целей моей жизни.

Но, возможно, можно представить, что это станет важной целью жизни. Такое уже случалось раньше. Я ведь не родился философом. Это стало центральной частью моей жизни благодаря годам практики. Разве не могло бы быть то же самое с джазовым саксофоном? Разве я не мог бы оказаться куда более погруженным в это, чем ожидал?

Нет причин думать, что это невозможно. Я мог бы решить посвятить себя джазу, сидеть допоздна в клубах, слушать старые джазовые записи снова и снова, изучать все возможности, которые предлагает инструмент. Но как долго? Даже если бы я стал преданным музыке, смог бы я заниматься этим тысячу лет? Пять тысяч? В какой-то момент становится трудно поверить, что можно оставаться погруженным в одно и то же занятие бесконечно долго.

А разве это так? Великие музыканты часами практикуются каждый день, день за днем. Им это никогда не надоедает. Однако, как и все остальные, музыканты смертны. Они вкладывают все силы в свое дело, потому что хотят добиться наибольшего мастерства за ограниченное время, которое у них есть. А времени действительно немного: максимум семьдесят-восемьдесят лет. Умножьте это на десять. Затем на сто. Потом на тысячу. Это очень много времени, чтобы играть на одном инструменте. И это было бы только началом. Всегда было бы еще больше времени для практики.

У меня нет доказательств того, что бессмертие привело бы к скуке от игры на музикальном инструменте. Как это можно доказать, так или иначе? Никто из нас не бессмертен, поэтому мы не можем знать наверняка. И мы знаем, что есть проекты и отношения, которые люди поддерживают на протяжении всей своей жизни. Так что, кажется, это могло бы продолжаться и в будущем, даже если оно было бы бесконечным.

Однако здесь внешность обманчива. Даже самые глубокие страсти, вероятно, со временем ослабевают. То, что не разрушилось за десятилетия, вероятно, будет разрушено за столетия или тысячелетия.

Бессмертие приносит с собой еще одну проблему, связанную с вовлеченностью в обязательства, что прекрасно иллюстрируется рассказом Борхеса. Когда времени предостаточно, становится трудно заставить что-либо иметь значение. Обязательства теряют свою срочность. Почему бы сегодня не отложить занятия на саксофоне, если впереди бесконечность завтрашних дней для практики? Картатилиус узнает, что Бессмертные в конце концов разрушили свой город до основания. Почему? Потому что он перестал для них что-либо значить. Все произойдет само собой, и в результате Бессмертные стали наблюдателями своей собственной жизни. Они потеряли вовлеченность в нее и предались чистым размышлению. К этой идее мы вернемся чуть позже, но сейчас нам важно сосредоточиться на том, как бессмертие подрывает участие человека в его собственных обязательствах.

Философ Марта Нуссбаум размышляла над этим аспектом бессмертия, над тем, что оно делает с жизнью. Она утверждает, что самый ясный пример человеческого бессмертия, который мы имеем в литературе, — это греческие боги. Исследуя их жизнь, она приходит к выводу, что многие добродетели, которые мы связываем с человеческим существованием, исчезли бы, будь мы бессмертны. Например, отвага была бы невозможна, ведь невозможно было бы рисковать жизнью ради чего-либо. Умеренность потеряла бы свое значение, так как наше тело не подвергалось бы угрозам. Даже справедливость оказалась бы под угрозой. Потребности других людей не казались бы столь насущными, ведь их существование не было бы под угрозой от нашего безразличия. В самом деле, среди Бессмертных у Борхеса нет сильного побуждения помогать другим. Гомер рассказывает Картатилиусу о человеке, который упал в карьер и пролежал там семьдесят лет, пока кто-то не бросил ему веревку. Его жизнь не была в опасности, но он все эти годы "сгорал от жажды".

Страдают не только добродетели. Личные отношения также изменились бы. Они стали бы менее значимыми, ведь меньше было бы поставлено на карту. Связи между родителями и детьми, вероятно, ослабли бы, если бы дети больше не зависели от родителей для выживания. Можно утверждать, что они все равно нуждались бы в родителях для обучения и воспитания. Возможно, это так, но даже некоторые аспекты этих процессов могли бы быть освоены самостоятельно или через сверстников, если бы времени было достаточно. То же самое можно сказать и о дружбе. Действия, которые я совершаю с другом, секреты, которые мы делим, уязвимость, которую я проявляю, конкуренция, которую мы предоставляем друг другу, — все это, конечно, могло бы происходить, но их значимость уменьшилась бы из-за того, что моя бессмертность снижала бы мою способность жертвовать чем-либо ради друга. Более того, учитывая бесконечное количество времени,

всегда была бы возможность найти такую же дружбу с кем-то еще: если не сейчас, то позже. Время всегда было в запасе.

Нуссбаум приходит к выводу:

"Интенсивность и преданность, с которыми многие человеческие занятия выполняются, не могут быть объяснены без осознания того, что наши возможности ограничены, что мы не можем выбирать эти занятия бесконечно много раз. В воспитании ребенка, в любви к возлюбленному, в выполнении сложной задачи работы, размышлений или художественного творчества мы осознаем, на каком-то уровне, что каждое из этих усилий структурировано и ограничено конечностью времени" (1994: 229).

Таким образом, бессмертие угрожает нашим обязательствам как внешне, так и внутренне. Внешне оно угрожает тем, что растягивает их на бесконечность, за пределы человеческой способности оставаться вовлеченным. Внутренне оно подрывает их через своего рода психологическую деморализацию. Срочность, которую мы связываем с нашими обязательствами, та срочность, что исходит из осознания того, что однажды время для их завершения или хотя бы участия в них закончится, исчезает в бессмертии.

Как краткое отступление, давайте вернемся к примеру из первой главы о родителях, потерявших ребенка. Я тогда сказал, что конечная смерть родителей структурирует то, как они проживают свою жизнь в свете смерти ребенка. Теперь мы можем понять, почему это так. Представьте, что родители бессмертны, а ребенок — нет. Это было бы практически невыносимо. Это сочетало бы в себе отсутствие серьезной вовлеченности в текущие проекты, о чем говорит Нуссбаум, с вечной печалью от потери ребенка. Вместо того чтобы жизнь родителей структурировалась вокруг трагического события, которое нужно было бы вынести через призму их собственной хрупкости, их жизнь структурировалась бы вокруг трагедии, которая становится еще более всепоглощающей, поскольку больше не остается ничего срочного, что требовало бы внимания.

Возвращаясь к текущей линии мысли, где все бессмертны, можно возразить, что всегда есть что-то еще, чем можно заняться. Джазовый саксофон — это одно из множества занятий, в которые я мог бы погрузиться. Всегда есть другие вещи, которые можно попробовать, другие места для посещения, другие люди, которых можно встретить, узнать и с которыми можно взаимодействовать. На этот аргумент есть два ответа. Первый — это легкий философский ответ. Второй говорит больше о нас как об индивидуумах. Первый ответ таков: не всегда есть что-то еще. Конечно, их много, но планета ограничена, и у нее ограниченное количество практик. Рано или поздно ты увидишь все, что можно увидеть, сделаешь все, что можно сделать, и встретишь всех, кого можно встретить. Это может занять десятки тысяч лет, может, даже сотни тысяч. Но рано или поздно это произойдет.

Второй ответ зависит от нас как личностей. Есть занятия, которые мне интересны, и есть такие, которые нет. Философия, воспитание детей, бег, баскетбол и, в меньшей степени, джаз находятся на одной стороне; гольф, химия, рыбалка и балет — на другой. И это еще не все. Есть много занятий, в которых мне было бы скучно участвовать. Если бы я занимался ими только потому, что больше не мог выносить тех, которыми раньше увлекался, это была бы скучная и бессмысленная жизнь. Это было бы похоже на чтение книги, которая тебе неинтересна, только чтобы убить время, потому что больше нечего читать.

Идея здесь заключается в том, что даже если перед нами откроются другие занятия после того, как наши страсти угаснут, эти занятия не составят полноценную жизнь, которая принесет нам чувство значимости. Каждый из нас представляет собой уникальную историческую траекторию с определенными биологическими корнями. Эта траектория и эти корни открывают для нас одни сферы интересов и закрывают другие. Никто из нас не интересуется всем, да и не мог бы. Таким образом, внешние и внутренние угрозы нашим обязательствам, которые приносит бессмертие, не могут быть устраниены просто сменой занятий. Когда то, что движет нами глубже всего, перестает быть источником мотивации, предложение других, менее значимых занятий не приносит утешения.

Но что насчет простого факта жизни, переживания опыта? В первой главе мы следовали мысли Нагеля о том, что сам по себе опыт положителен. Быть живым, даже в отсутствие всех проектов и обязательств, уже положительно. Я попытался проиллюстрировать эту мысль на примере пробуждения после сна и наблюдения за зелеными листьями на фоне синего неба. Разве само по себе существование не может быть достаточным? Даже если все наши проекты утратят страсть, разве не будет достаточно просто ощущать проходящие моменты?

Я полагаю, что этого было бы недостаточно, и здесь мы можем опереться на свидетельства. Когда я просыпаюсь после сна, я иногда могу задержаться у окна, наслаждаясь цветами: десять, пятнадцать, даже двадцать минут, если у меня есть ощущение изобилия времени, — но не больше. Если бы меня заставили оставаться в таком состоянии несколько часов, это стало бы неприятным. Я не могу себе представить годы в таком состоянии. Медитация аналогична. Можно медитировать определенное время, но не годами. Для большинства из нас медитация служит средством для достижения душевного покоя, когда мы возвращаемся к своим делам. Медитация помогает в жизни, но не заменяет ее. Обычный опыт, жизнь без эмоционального и интеллектуального вовлечения в текущие дела, невыносим в течение долгого времени. Ум и тело нуждаются в движении вперед. И если им предстоит только задания без страсти, жизнь становится скорее бременем, чем радостью.

Следовательно, хотя Нагель может быть прав в том, что сам по себе опыт не нейтрален, а положителен, этот позитив не распространяется на бессмертие. Как и наши проекты, чистый опыт не может сделать жизнь стоящей того, чтобы жить, на протяжении бесконечного времени.

Теперь мы можем понять, почему Бессмертные в рассказе Борхеса отступили в сферу чистой мысли. Ничто в мире больше не могло их тронуть, и они жили в пещерах, погруженные в чистые размышления. Возможно, чистое размышление предлагало бы некую деятельность, не имеющую конца. В конце концов, некоторые темы, по крайней мере, предоставляют возможность для бесконечных мыслей. Например, математика кажется неограниченной в своих возможностях для доказательств и демонстраций. Точно так же и воображение не знает границ. Можно было бы не практиковать музыку вечно, но разве нельзя было бы бесконечно воображать музыкальные вариации? Возможно ли, что бессмертная жизнь могла бы изгнать скуку через погружение в мысли?

Если кто-то и мог бы поддержать эту точку зрения, то это, вероятно, философ. Ведь размышления — это то, чем философы занимаются по жизни. И, как я часто убеждаюсь, когда люди узнают, что я философ, существует определенное представление о философах как о людях с головой в облаках, оторванных от мира, питающихся исключительно идеями. Однако именно философ, недавний британский философ Бернард Уильямс, развенчивает такое представление о философии и о роли мысли в поддержании бессмертной жизни.

Уильямс утверждает, что для философов, как и для других людей, мысль не существует в отрыве от мира. Она о мире. Ее проблемы находят свой источник в нем, и она стремится найти способ разрешить головоломки и трудности, возникающие у нас при движении по этому миру.

Подумайте о вопросах, которые задают философы. Что такое справедливость? Как следует жить? Что я могу знать? Мы свободны или предопределены? Что существует? Эти вопросы могут привести к более абстрактным вопросам. Но они основаны на проблемах, которые возникают у нас в жизни. Физики, химики и биологи также находят свои вопросы в мире. Они проявляют любопытство к какому-то аспекту мира и исследуют его. Возможно, самой абстрагированной от мира областью знаний является математика. И даже там есть приложения к этому миру, хотя не вся математика требует их. (Может ли чистый математик быть хорошим кандидатом на бессмертие?)

Есть еще один способ сформулировать эту мысль. Мысль взаимодействует с другими аспектами жизни человека. Чтобы мысль была удовлетворительной, она должна пересекаться с этими аспектами так или иначе. Это не означает, что вся философия должна быть прикладной. Скорее это значит, что моя жизнь и мои мысли не могут быть

полностью отделены друг от друга. Если я начинаю интересоваться структурой существования мира, его конечной материей, это любопытство мое собственное. Оно исходит из моей жизни и пересекается с тем, что мы недавно называли моей исторической траекторией и биологическими корнями.

Уильямс пишет в статье о бессмертии под названием "Дело Макропулоса: Размышления о скуке бессмертия" (1976), что для человека, склонного к размышлениям, чистая спекуляция:

"Кажется совершенно необоснованным полагать, что эти занятия [то, что Уильямс называет "интенсивным интеллектуальным исследованием"] будут обладать тем удовлетворяющим или освобождающим характером, который они действительно имеют для него, если они окажутся всем, что он может делать или о чем может подумать. Если они действительно приносят удовлетворение... то основа и форма того удовлетворения, которое интеллектуальное исследование приносит ему, будут связаны с ним самим, а не только с исследованием".

Человеческая жизнь приводит нас к определенным вопросам. Эти вопросы, хотя они могут — и в философии часто это происходит — увести нас далеко от первоначальных мотивов, все же остаются привязанными к этим мотивам и должны поддерживаться ими. Интеллектуальное исследование вытекает из жизни человека и не может быть отделено от нее. Следовательно, заниматься исследованием исключительно ради самого исследования, отдельно от любых личных интересов, — это не та жизнь, которую я мог бы вести, потому что не было бы «я», которое могло бы ее вести. Или, если смотреть с точки зрения этого «я», чистая спекуляция Бессмертных не могла бы предложить основу для удовлетворительной жизни. Сам Борхес, кажется, намекает на это, изображая Бессмертных как троглодитов, чей мир он не делает привлекательным. И сам Уильямс приходит к выводу: «Платоновская интроверсия, которая рассматривает удовлетворение от изучения вечного и безличного как само по себе вечное и безличное, может быть глубокой иллюзией, но это, безусловно, иллюзия» (*ibid.*).

Бессмертие, таким образом, не кажется перспективой осмысленной или удовлетворяющей жизни. Или, точнее, оно не предлагает перспективу осмысленной человеческой жизни. Мы можем представить себе существа, которые могут заниматься одними и теми же проектами бесконечное количество времени, или могут браться за проекты, не обращая внимания на свои личные истории и ориентации, или могут бесконечно фокусироваться на своем опыте, или погружаться в чистую мысль и спекуляцию. Но эти существа не будут нами. У них не будет жизни, подобной нашей, где наши текущие проекты укоренены в том, кто мы есть, и в тех путях, которые мы прошли, чтобы стать теми, кто мы есть.

Для людей бессмертная жизнь была бы бесформенной. У нее не было бы границ или очертаний. Ее цвет бы поблек, и мы могли бы предвидеть это побледнение с самого начала. Бессмертная жизнь была бы невозможна как моя жизнь или твоя жизнь. Поскольку она длилась бы бесконечно, она рано или поздно превратилась бы в череду событий, лишенную всякой формы. Стало бы невозможно отличить фон от переднего плана. И поскольку мы осознавали бы свою бессмертность, все это, вероятно, произошло бы скорее рано, чем поздно. Более того, поскольку наше время было бы бесконечным, даже если бы это произошло позже, с точки зрения бесконечности это случилось бы в начале, почти в момент нашего рождения. По мере того как время растягивается бесконечно, события в нем как бы сжимаются к началу, подобно тому, как мы освобождаем место для новых рубашек или пальто в шкафу, отодвигая все на одну сторону.

В «Бессмертном» Гомер описывает смертность так:

«Смерть (или ее предчувствие) делает людей драгоценными и трогательными. Они волют своей призрачной природой; каждое действие, которое они совершают, может быть последним; нет лица, которое не находится на грани растворения, как лицо во сне. Все среди смертных имеет ценность непоправимого и опасного».

Он говорит это с точки зрения того, кто знает больше. Бессмертные видели все, и они понимают, что ничто не является непоправимым, что все, вероятно, произойдет снова или произойдет похожим образом, и что с более широкой точки зрения ничто не является опасным. Однако мы можем перевернуть эту мысль и посмотреть на нее с точки зрения нашей смертности. Именно наша смертность придает значение нашим поступкам, делает их важными, заставляет их иметь значение.

Вспомните здесь пример китайского каменного сада. Разве не было в этом проекте коллективного творчества, выполненного людьми, находящимися на большом расстоянии друг от друга, чего-то, что затрагивает нас? Если да, то это связано с хрупкостью человеческой жизни. Мы видели, что с бессмертием не было бы нужды в таких каменных садах. Они бы утратили смысл. Но если бы они утратили смысл, было бы это улучшением для нашей жизни? Укрепляется ли человеческая жизнь, когда коллективный проект такого рода теряет свое значение? Укрепляется ли она, когда связи между родителями и детьми, между друзьями, между людьми и их деятельностью перестают быть серьезными и срочными, «драгоценными и трогательными»? Не именно ли потому, что наши лица всегда на грани растворения, то, что мы делаем, кажется нам достойным нашего участия?

Таким образом, смерть, похоже, придает форму нашей жизни. Именно факт, что мы умираем, делает то, что мы делаем, и с кем мы это делаем, важным. Эта мысль, конечно, контрастирует с тем, что мы обсуждали в первой главе, где казалось, что смерть не улучшает, а уменьшает смысл нашей жизни. Там смерть предстала как нечто, что привносит

в нашу жизнь произвольную финальность. Она обрывает нити нашего существования, не давая им связаться во что-то осмысленное. Смерть — это то, что преследует нас на каждом шагу, угрожая нашим делам и нашим отношениям с другими. Здесь же, напротив, не смерть, а бессмертие угрожает осмысленности нашей жизни. Внешне и внутренне бессмертие ослабляет нашу страсть, снижает важность наших обязательств и, в конечном счете, приводит нас к скуке от собственной жизни.

Обе точки зрения верны. Наши жизни угрожаемы смертью, но не так, чтобы бессмертие сделало их лучше. Нам нужно понять эту мысль, чтобы задаться вопросом, как жить со смертью — вопросом, на который ищет ответ третья глава. Чтобы понять это, мы должны четко осознавать, каким образом смерть и бессмертие бросают тень на наши жизни. Ведь они делают это по-разному.

И смерть, и бессмертие угрожают осмысленности нашей жизни, но делают это по-разному. Смерть угрожает нашим жизням через их незавершенность. Наши проекты, обязательства и отношения просто исчезнут, не будучи доведенными до конца. Но это становится проблемой для нас только в том случае, если эти проекты, обязательства и отношения имеют для нас значение. Если бы они не имели значения, то и их исчезновение не имело бы значения. Они были бы не значимее, чем мимолетные прихоти, которые исчезают без сожаления. Мы могли бы выразить эту мысль так: именно потому, что наши дела имеют значение для нас, смерть становится для нас угрозой. В этом смысле, и в свете обсуждения бессмертия, которое мы вели до сих пор, смерть играет двойную роль в осмысленности нашей жизни. С одной стороны, смерть придает нашей жизни срочность и красоту. Без смерти мало что кажется важным. Со смертью — многое становится таким. С другой стороны, смерть угрожает самой осмысленности, которую она приносит. Хрупкость нашей жизни действует в двух направлениях. Она как создает, так и разрушает важность этой жизни. Она создает ее в том смысле, что придает нашим действиям неотвратимость, уникальность и неповторимость моментов нашей жизни. Она разрушает их, угрожая этой неотвратимости и уникальности каждым моментом своей возможной аннигиляцией.

Бессмертие действует иначе. Оно не делает и не разрушает осмысленность наших жизней одновременно. Оно просто разрушает её. Если смерть угрожает тому, что делает наши жизни значимыми, бессмертие угрожает самому факту значимости. Не наши проекты и обязательства, которые важны для нас, подвергаются риску при бессмертии. Напротив, это важность самих проектов и обязательств оказывается под угрозой. Обязательства, тянувшиеся бесконечно, события, преследующие нас своим бесконечным повторением, альтернативы, которые кажутся лишь бессмысленными способами скратить время — всё это не уничтожает нашу жизнь через аннигиляцию, но калечит её через отчаяние. В бессмертии нити нашей жизни не подвергаются произвольному разрыву. Вместо этого эти нити кажутся лишёнными цвета и формы, не имеющими особого узора.

Когда мы ранее рассматривали, как смерть не является ни целью, ни достижением, мы сравнивали её с концовкой романа. Концовка романа, по крайней мере, в большинстве случаев, даёт некое завершение предыдущим страницам. Она позволяет читателю увидеть предыдущие части романа в определённом свете, придавая им особый оттенок или направление. По крайней мере, концовка романа играет определённую роль в его структуре и смысле. Концовка романа подобна ряби на пруду, чьи эффекты распространяются по поверхности, придавая целому определённый вид. Смерть не похожа на это. Она не придаёт жизни завершённости или целостности. Она не добавляет смысла. Она просто останавливает человеческую жизнь.

Бессмертие можно сравнить с концовкой романа иным образом. В бессмертии роман никогда не заканчивается. Он просто продолжается. Нет завершения романа, потому что нет его закрытия. Но, как и смерть, это отсутствие завершённости приводит к утрате смысла. Если смертная жизнь может быть сравнима с незаконченным романом, который автор в какой-то момент забросил, то бессмертие можно сравнить с романом, который приходится читать вечно. Представьте себе это. Представьте роман, который вы буквально не можете отложить, но не потому, что он интересен. Он может быть интересным на первых нескольких тысячах страниц. Но причина, по которой вы не можете его отложить, в том, что вам придётся продолжать его читать. Вы не можете его закончить, потому что он не заканчивается. Вопрос в том, что это делает со значением романа? Насколько осмысленным может быть такой роман? И, что более важно, какое значение он может иметь?

По мере того как роман продолжает разворачиваться, персонажи продолжают делать то, что они делают, и разные ситуации продолжают появляться без конца, сам роман начинает казаться, используя уже знакомое нам слово, бесформенным. Мало что выделяется из остального, так как нет ничего, что могло бы это выделить. Конечно, автор (если мы вообще можем представить себе автора бесконечного романа) может выделять определённые темы, показывать перед нами повторяющиеся образы или ситуации, повторять определённые мотивы. Но по мере того как роман продолжается, возникает вопрос: в чём смысл этих повторений? Нет целого, в которое всё это могло бы вписаться, потому что не может быть целого.

Как в случае с бесконечным романом, так и в случае с бессмертной жизнью. Где-то на пути — точка, которую мы отмечали ранее, всегда будет казаться началом по отношению к бесконечному продолжению жизни — теряется смысл всего происходящего. Если смерть не позволяет связать нити жизни в узор, потому что они обрываются в произвольной точке, бессмертие не позволяет им стать узором, потому что просто не позволяет им остановиться.

Это возвращает нас к разногласиям между философами Нагелем и Уильямсом. Нагель утверждает, что сам по себе опыт — это благо. Вспомните его мысль о том, что «оставшееся [если убрать специфические элементы, которые делают жизнь лучше или хуже]... это не просто нейтральное: это подчеркнуто положительное». Быть живым — это хорошо. В любом случае, это лучше, чем альтернатива. С этой точки зрения, больше жизни лучше, чем меньше, не из-за её количества, а просто потому, что это жизнь. Смерть, по его мнению, — это зло. Это неизбежное зло, но всё же зло, потому что оно лишает нас того, что само по себе является добром — бытия живым. Он заканчивает своё эссе словами: «Если нет предела количеству жизни, которую было бы хорошо иметь, тогда, возможно, нас всех ждёт плохой конец» (1991: 10).

Уильямс видит в этом аргумент в пользу бессмертия, и поэтому считает его ошибочным. Можно понять, как Нагелевская точка зрения может быть воспринята таким образом. Если больше жизни лучше, чем меньше, значит лучше просто продолжать жить, чем умереть в любой момент. Но продолжать жить — значит быть бессмертным. Следовательно, бессмертие лучше, чем смертность.

Однако Нагель не обсуждает бессмертие напрямую. Это оказывается важным моментом. В начале этой главы мы различили два возможных типа человеческого бессмертия: бессмертие, где человек осознаёт, что он бессмертен, и бессмертие без этого осознания. Мы увидели, что если мы представляем себя как людей, единственное бессмертие, которое мы могли бы разумно рассмотреть, — это бессмертие с осознанием. Это, в свою очередь, имеет ряд последствий, большинство из которых негативны для нашей жизни. В нашем различии между тем, как бессмертие угрожает осмысленности человеческой жизни внутренне и внешне, все внутренние угрозы требуют осознания того, что человек бессмертен. Мрачность, которую изображает Борхес, и отсутствие серьёзности, о котором говорит Нуссбаум, требуют, чтобы бессмертные существа понимали свою бессмертность.

Внешняя угроза осмысленности — жизнь просто продолжается — также требует осознания своей бессмертности. Скука и отчаяние, которые захлестывают человека, являются результатом осознания того, что впереди ещё больше жизни и ничего интересного или захватывающего не заполняет её. Конечно, возможно, что человек не осознает, что он бессмертен. В этом случае внутренняя угроза бессмысленности не возникнет, и внешняя угроза может быть устранена, по крайней мере, на какое-то время. Однако, как мы уже видели, это не была бы человеческая жизнь, а нас интересует именно человеческая жизнь, которая была бы бессмертной. Именно это помогает нам понять наше отношение к смерти.

Тот факт, что Нагель не обсуждает бессмертие напрямую, позволяет нам рассмотреть его аргумент в ином свете, чем это делает Уильямс. Можно сказать, что точка зрения Нагеля не в том, что люди должны быть бессмертны, а в том, что они должны продолжать жить. Это различие может показаться странным. Оно может показаться тем, что философы

называют различием без разницы: различием, где различаемые вещи на самом деле одинаковы. Человеческое бессмертие — это бессмертие с осознанием того, что человек бессмертен. Но это не то, за что выступает Нагель. Его точка зрения заключается в том, что смерть, когда бы она ни наступала, является злом для нас. Иными словами, Нагель утверждает, что с точки зрения смертного существа смерть всегда является злом. Но он не утверждает, что с точки зрения смертного существа бессмертие было бы благом. И тем более он не утверждает, что с точки зрения бессмертного существа бессмертие — это благо. Он просто не рассматривает эти возможности.

Теперь можно возразить, что неважно, рассматривает ли он эти возможности; они всё равно вытекают из его слов. Это, похоже, и есть точка зрения Уильямса, когда он пишет:

«Смерть в любое время — это зло... Нагель, действительно, со своей точки зрения, кажется, допускает такой вывод... Но за этим следуют более широкие последствия. Если всё это правда, тогда выглядит так, будто всегда лучше жить, но лучше жить всегда, то есть никогда не умирать» (1976: 89).

Но действительно ли такие последствия неизбежны? Возможно ли думать о смерти таким образом, что, с одной стороны, лучше продолжать жить, а с другой — лучше не быть бессмертным? Именно к этой дилемме и подводит нас эта глава. Если смерть — это зло, то и бессмертие — зло, хотя и в ином смысле.

Уильямс не видит в этом дилеммы. Он признает бессмертие как зло по причинам, которые мы рассматривали на протяжении этой главы. Его вывод таков: смертность не является злом. Всё зависит от времени. Человек должен прожить достаточно долго, чтобы его страсть к жизни осталась непоколебимой. Если меньше, то смерть наступает преждевременно; если больше, то человек умирает, пресыщенный жизнью. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Даже не ясно, большинству ли людей отведено достаточно времени, чтобы избежать преждевременной смерти. Но, по мнению Уильямса, для каждой жизни есть подходящий момент, даже если трудно понять, когда именно это происходит. Он пишет о смерти:

«Неизбежно, она либо наступает слишком рано, либо слишком поздно. Элина Макропулос (выдуманный бессмертный персонаж) напоминает нам, что это может быть слишком поздно, и многие, в противовес Лукрецию, не нуждаются в напоминании, что это может быть слишком рано. Если это вообще какая-то дилемма, она может, как и сейчас, если вам чрезвычайно повезет, быть разрешена не через действие, а просто через смерть чуть раньше того, как ужасы её отсутствия станут очевидными» (ibid.: 100).

Ключевая фраза в этом отрывке — «чуть раньше». Если человек умирает чуть раньше того, как станут очевидны ужасы продолжительной жизни, то он умирает слишком рано. Жизнь

в этот момент всё ещё ценна. Человек привязан к своей жизни, даже если это лишь тот минимальный опыт, о котором говорит Нагель. Можно предположить, что есть момент, когда всё, ради чего стоит жить, уже потеряно, но ужасы слишком долгой жизни ещё не стали очевидными, и это был бы идеальный момент для смерти. Это, мне кажется, возможно — и, на самом деле, мы признали такую возможность в первой главе — но весьма маловероятно. Для большинства из нас привязанность к жизни не заканчивается в какой-то особенный момент, который был бы идеальным временем для смерти. Скорее, как мы уже часто говорили, всегда существуют нити, связывающие нас с миром. Идея о том, что эти нити соединяются в какой-то конкретный момент, прежде чем всё начнёт идти наперекосяк, кажется весьма отдалённой.

Если это так, то идея о том, что существует правильное время для смерти, менее правдоподобна, по крайней мере, для подавляющего большинства людей. Уильямс, аргументируя против бессмертия, слишком сильно качнул лодку в обратную сторону. Возможно, бессмертие было бы плохим выбором для нас, но смерть тоже является таковой. Как утверждал Нагель, нас всех может ожидать плохой конец. Если мы видим это так, то позиция Нагеля оказывается несколько более утончённой, чем логическая формулировка Уильямса: смерть — это зло в любой момент, следовательно, бессмертие — это благо. Мы можем интерпретировать Нагеля не как утверждение о том, что бессмертие — это благо, а как утверждение о том, что для большинства из нас смерть в любой момент является злом. Это начинает раскрывать дилемму, которую перед нами ставит смерть. Лучше, что мы смертны, но нет хорошего момента для смерти. Наша смертность придаёт форму нашим жизням; она придаёт им целостность и смысл. Она делает моменты наших жизней драгоценными. И всё же смерть угрожает всему этому. Хорошо, что мы умираем, но не прямо сейчас.

Конечно, это «не прямо сейчас» не применимо ко всем. Для некоторых людей, находящихся в сильной эмоциональной или физической боли, особенно тех, кто страдает от болезней, которые одновременно являются изнурительными и неизлечимыми, лучше умереть раньше, чем позже. Но даже для многих из них сам факт того, что они умрут, играет роль в их решении умереть раньше. Для них нет будущего, в котором они могли бы проецировать свои жизни. Речь идет не только о жизни в боли, но и о жизни в боли без возможности заниматься теми проектами, которые делают человеческую жизнь осмысленной. Им не хватает времени для этих проектов. Наличие будущего предлагает надежду. Перспектива короткой жизни в великой боли с последующей смертью такой надежды не даёт.

Здесь есть более глубокий урок. Можно попытаться оспорить дилемму, которую я привёл, отметив, что многие люди, которые прожили долгую и насыщенную жизнь, когда приближаются к её концу, готовы умереть. Они смиряются со смертью. Разве для них не

существует подходящего момента для смерти? Разве Уильямс не прав хотя бы в немалом количестве случаев?

Проблема этого примера в том, что эти люди знают, что умрут, и поэтому они смиряются с неизбежным. Им не предложен выбор — жить дальше или умереть. Скорее, они видят приближение конца своей жизни, знают, что их время почти пришло, и обладают эмоциональными ресурсами, чтобы смириться с этим фактом. Они не ищут смерти. Они спокойно принимают неизбежное. Для таких людей перспектива продолжения жизни, вероятно, была бы принята с радостью. Но так как это не предусмотрено, они принимают то, что есть.

Это не означает, что никто, кто не смертельно болен, никогда не захочет умереть. Можно указать на людей, совершающих самоубийство. Однако это не является сильным аргументом против идеи, что смерть — это зло для нас. Последние исследования показали, что подавляющее большинство потенциальных самоубийц, если их попытка будет пресечена, не повторяют её. Самоубийство, как правило, связано с временным отчаянием, а не с разумным размышлением о состоянии своей жизни. Но среди людей, совершающих самоубийство, есть те, кто повторяет попытку, если представляется возможность. Их очень мало, но они существуют. Как бы печально это ни было, существуют люди, для которых жизнь является источником боли, и для них продолжение жизни было бы бременем. По какой-либо причине их жизнь утратила тот смысл, который у неё был, и вряд ли этот смысл вернётся. Эти люди не оказались в той дилемме, которую мы обсуждаем. Однако их ситуация хуже той дилеммы, о которой мы говорим.

Дилемма заключается в том, что и смерть, и бессмертие враждебны для нас. Если смерть — это плохой конец для нас всех, то бессмертие — это плохое отсутствие конца. Эта дилемма, возможно, одна из самых важных, стоящих перед человечеством, не является тем, что можно разрешить теоретически. Это не головоломка, которую можно решить размышлениями. Это дилемма, с которой каждый из нас сталкивается в процессе жизни, дилемма, которая формирует то, как мы создаем самих себя. Смерть, которая нас преследует, — это то, что позволяет нашей жизни иметь для нас значение.

Вопрос, с которым сталкивается каждая наша жизнь, заключается в том, как жить перед лицом этой дилеммы. Что мы можем сделать с самими собой, если смерть, которая подрывает нас, является необходимой чертой того, чтобы наша жизнь имела ценность? Прежде всего, мы должны признать, что это не вопрос разрешения дилеммы. Уильямс пытается разрешить её в одном направлении: в пользу смерти. Нагель, по крайней мере в интерпретации Уильямса, пытается разрешить её в другом направлении. Однако мы видим, что разрешения нет. Это не вопрос решения проблемы, которую ставит перед нами смерть, а вопрос того, как научиться жить с ней. Конечно, существует множество различных способов преодоления этой дилеммы. Нет единого универсального рецепта, которому

должны следовать все жизни. Но существуют общие соображения, которые мы можем применить к этой проблеме, и именно к ним мы теперь обратимся.

Прежде всего, важно осознать, что смерть придаёт нашей жизни форму и смысл, но также угрожает разрушить всё, что делает жизнь осмысленной. Этот противоречивый характер смерти — её способность как создавать значимость, так и уничтожать её — заставляет нас признать, что ни одна из крайностей, будь то желание вечной жизни или преждевременное стремление к смерти, не является удовлетворительным ответом. Мы должны научиться жить с этой двойственностью, найти баланс между страхом перед смертью и осознанием её необходимости.

ГЛАВА 3. ЖИЗНЬ СО СМЕРТЬЮ

Давайте подведем итоги того, где мы находимся. Вопрос о смерти мы рассматривали как вопрос о финальности: о завершении жизни. Мы пытаемся понять, что это может значить для каждого из нас в процессе нашей жизни. Если смерть не является окончательной, это уже не смерть в полном смысле. Как мы говорили, представление о загробной жизни позволяет нам пережить собственную смерть. Некоторая часть нас может умереть, но мы сами не умираем по-настоящему.

Но что, если вы действительно умираете? Что, если после остановки вашего сердца и исчезновения мозговой активности от вас ничего не остаётся? Тогда смерть — это просто остановка жизни. Это не её завершение в каком-либо ином смысле, кроме того, что вы перестаёте жить. Более того, эта остановка может произойти в любой момент. Единственное, что наверняка, — это то, что она наступит. Занавес опустится на вашу жизнь, и это может случиться в середине пьесы. Вы всегда видите этот занавес над собой. Вы можете жить так, чтобы занавес не упал раньше, чем вы того хотите: хорошо питаться, заниматься спортом, осторожно водить машину. Это снижает вероятность того, что занавес внезапно упадёт. Но это не устраняет самой возможности его падения. Генетическая предрасположенность, природные катастрофы, плохие водители на дороге — всё это тянет за занавес наших жизней.

Тревожный страх смерти может заставить кого-то желать бессмертия. По крайней мере, при бессмертии нет страха, что занавес упадет на какую-то важную сцену вашей жизни. Однако бессмертие приносит свои собственные проблемы. Пьеса, которая продолжается бесконечно, становится скучной, и если вы с самого начала (или вскоре после начала) знаете, что пьеса вашей жизни будет продолжаться без конца, вам, вероятно, станет скучно. Ни одна часть жизни не будет иметь значения. Ничто не будет важным или срочным. Отношения, вероятно, станут поверхностными, обязательства — менее значимыми, а время будет тянуться с каждым моментом. Не будет места, где можно укрыться от бесконечности собственного существования. Ваши проекты в конечном итоге

исчерпают энергию или страсть, и вы будете знать это, участвуя в них. Ваш опыт не будет вызывать у вас удивления, как это происходит у смертных существ, поскольку он всегда будет с вами. И даже если вы попытаетесь найти убежище в чистых мыслях или спекуляциях, вы потеряете к ним интерес, поскольку они не будут иметь связи с вашей жизнью как источником их появления.

Неудивительно, что многие из нас избегают прямого столкновения со смертью. Это похоже на болезнь, лекарство от которой, если бы оно существовало, было бы хуже самой болезни. Конечно, самый простой и распространённый способ избежать призрака смерти — это просто не думать о ней. Это похоже на тот слабый скрежет, который вы слышите в машине. Может быть, если его проигнорировать, он просто исчезнет. Однако и противоположная стратегия — постоянное размыщление о смерти — ничем не лучше. Это потому, что постоянное размыщление о смерти — это, по сути, попытка её излечить или контролировать. Но смерть не может быть излечена или контролируема. Постоянное наблюдение за занавесом не предотвратит его падения. Быть в постоянных мыслях о смерти в попытке отогнать её угрозу — это как быть одержимым человеком, который не может перестать мыть руки. Они чувствуют непрекращающуюся угрозу от грязи или нечистоты и надеются, что, достаточно очищаясь, смогут её избежать. Но микробы, как и смерть, всегда будут с нами. Нет ритуала, который мог бы устраниć их или даже гарантировать, что между нами и ними будет какое-то пространство.

Когда игнорирование смерти (или, наоборот, её навязчивое обдумывание) не срабатывает, следующий наиболее распространённый способ — это мыслить о смерти так, чтобы её обойти. Это, как мы видели, делает представление о загробной жизни. Оно избегает смерти, сохраняя сущность человека после физической кончины. В примерах, которые мы изучали, некоторые версии христианства и буддизма предлагают это, хотя и в совершенно разных формах. Есть и другой случай — даосизм, который представляет интересный контраст как с христианством, так и с буддизмом. Мы можем лишь коротко упомянуть этот контраст, но стоит сделать паузу, чтобы рассмотреть его.

В даосизме, как и в буддизме, существует цикл жизни и смерти. Но в даосизме нет кармы. Каждый из нас подобен волне на море бытия. Мы поднимаемся из моря, думая, что мы уникальные и незаменимые личности, только потому, что не видим, что мы всего лишь временные движения чего-то большего. В конце концов, мы вернёмся в это большее и станем его частью. Даосизм, как и буддизм, считает концепцию «я» иллюзией. Существует просто процесс разворачивания космоса, и то, что кажется личностью, на самом деле лишь момент в этом космическом процессе. Но, в отличие от буддистов, которые верят в реинкарнацию, даосизм в этом смысле более последователен. Реинкарнация подразумевает наличие «я». Это «я» может исчезнуть, когда достигнет нирваны, но оно сохраняется на протяжении ряда жизней. В даосизме нет такой концепции. Человек

рождается, умирает, возвращается к космическому источнику, откуда пришёл, и откуда, на самом деле, никогда не уходил.

Как представляется смерть в даосизме? Это немного неясно. С одной стороны, человек, безусловно, умирает. От него ничего не остаётся после того, как волна падает обратно в море. Конечно, сама идея, что есть кто-то, кто умирает, ошибочна. Но, если оставить это в стороне, в той мере, в какой существует опыт «я», он заканчивается со смертью. Представленная таким образом, смерть в даосизме не имеет концепции загробной жизни. Темы смерти, которые мы выделили в первой главе, остаются неизменными.

Однако есть и другой взгляд, который усложняет дело. В некоторых интерпретациях, после смерти человек возвращается к космической субстанции, но не исчезает полностью. Например, в писаниях древнего даосского философа Чжуан-цзы один из персонажей с радостью принимает свою приближающуюся смерть, видя её как шанс для новых приключений. Он размышляет, во что могут превратиться различные части его тела. Он называет это Создателем:

«Он, возможно, со временем превратит мою левую руку в петуха... Или, может быть, он превратит мою правую руку в снаряд для арбалета, и я смогу сбить сову для жарки. Или, возможно, со временем он превратит мои ягодицы в колесо телеги. Тогда, с моим духом в роли лошади, я взберусь и поеду кататься» (1964: 80-81).

Таким образом, существует необычное чувство, в котором можно сказать, что человек переживает свою собственную смерть. Да, человек возвращается к космическому веществу, но остается нечто, что он может испытать дальше. Это может быть в разных формах и местах, но все же остается нечто, чего можно ожидать. Эта перспектива может предложить некую форму загробной жизни, хотя она сильно отличается от тех, которые представляют себе христианство или буддизм.

Можно подкрепить даосскую идею эмпирически, хотя это, возможно, будет лишено какого-либо утешения перед лицом смерти. Если мы посмотрим на экологические системы, мы можем признать, что мы действительно являемся их частью. В настоящее время эффекты глобального потепления напоминают нам об этом. Если мы рассматриваем себя как биологическое вещество, то наша смерть возвращает нас в почву. Мы питаем почву, которая затем становится частью растительного мира (предполагая, что мы не замурованы в гробу). Растения поедаются животными, а затем становятся частью их биологического состава. Таким образом, наше биологическое рассеяние действительно превращается, в каком-то смысле, в «ножки петуха» и «снаряды для арбалета» (хотя последние сейчас уже не так актуальны). Однако, рассматривая это так, мы все равно умираем. То, что важно для нас в нашей жизни, исчезает. Поэтому, если эта перспектива не помогает нам отказаться

от значимости наших обязательств (что, собственно, даосизм и пытается сделать — к этому мы скоро вернёмся), то она не помогает избежать преследующей нас силы смерти.

Кроме отказа думать о смерти, навязчивых размышлений о ней и принятия концепции загробной жизни, мы видели по крайней мере еще одну стратегию для бегства от власти смерти. Это утверждение Бернарда Уильямса о том, что возможно умереть в нужное время. Этот подход к смерти не отрицает и не игнорирует факт того, что люди умирают. Он отрицает, по крайней мере в некоторых случаях, вторую тему, связанную со смертью: что смерть не является ни целью, ни достижением. Нам нужно здесь быть ясными, чтобы не исказить позицию Уильямса. Он не утверждает, что смерть приходит в нужное время для многих или большинства из нас. Он говорит, что возможно, что смерть может прийти в правильное время: в тот момент, прямо перед тем, как наша жизнь погрузится в скуку, связанную с бессмертием. Возможно, этот момент наступил бы гораздо позже, чем длится человеческая жизнь. Он не отрицает эту возможность. Он лишь считает, что такой момент мог бы быть для человеческой жизни. И это источник определенной надежды, связанной с чьей-то смертью: надежды на то, что смерть может быть достойным завершением жизни.

С точки зрения, которую мы развивали здесь, эта надежда ослабевает. Возможно, что смерть может прийти в нужное время. В предыдущей главе мы обсуждали некоторые исключительные обстоятельства, при которых смерть могла бы быть своевременной. Однако, учитывая, как люди вовлечены в проекты и как они ориентированы на будущее, трудно представить, что смерть может наступить в подходящий момент для большинства из нас. Возможно, если бы люди жили пару сотен лет, ситуация могла бы быть другой. Но у нас этого нет. Учитывая продолжительность жизни человека, и за исключением ситуаций, когда жизнь идёт плохо и не предвидится улучшений, маловероятно, что смерть придёт в правильный момент для кого-либо из нас.

Есть ещё одна стратегия для избежания власти смерти. Это та, о которой мы ещё не говорили. И всё же многие люди так или иначе ссылаются на неё. Когда они это делают, они видят в этом своего рода бессмертие. Она включает в себя цель оставить свой след в мире, произвести на него неизгладимое впечатление или даже оставить своё имя после смерти. Это можно сделать через грандиозные и дорогие жесты: пожертвовать деньги на строительство крыла больницы или здания колледжа. Это можно сделать через написание книги. Это можно сделать через рождение детей, которых я не раз слышал, как называли «заявкой на бессмертие». Идея во всех этих случаях заключается в том, чтобы оставить что-то от себя в этом мире. Человек пытается убедить себя, что останется что-то после его ухода.

Как работает эта уверенность? Очевидно, что она бесполезна для человека после его смерти. Если я построю здание с моим именем, я не узнаю об этом после своей смерти. Это не принесёт мне утешения тогда. Это может действовать только как уверенность для

живых. Я жертвую деньги на здание, которое будет носить моё имя, говоря себе, что после моей смерти меня будут помнить. И в этой памяти я продолжу жить. Это не должно быть единственным мотивом для пожертвования денег на здание. Для тех, кто жертвует — или пишет книги, или заводит детей — это может вообще не быть мотивом. Но для тех, для кого это мотив, это, вероятно, действует как утешение для живых, пока они живы.

Однако это слабое утешение перед лицом смерти. Во-первых, такие попытки сохранить своё имя или влияние не сохраняют сам опыт жизни. Я умру, и никакое здание с моим именем не остановит этого. Я больше не увижу рассвета, не почувствую прикосновение близкого человека, не услышу голосов своих детей. Мои писания прекратятся. Мои надежды и мои обязательства с этим миром закончатся вместе со мной. Короче говоря, оставление чего-то после себя не означает, что я останусь после смерти. В той мере, в какой такие действия являются заявкой на бессмертие, они служат лишь слабой заменой.

Во-вторых, то бессмертие, которое даруют такие поступки, с годами становится всё тоньше. Есть те, кто помнит меня, и в чьей памяти я продолжаю жить, когда они входят в здание, которое я профинансировал, или встречают моих детей, или читают мои книги. Но они тоже умрут, и следующее поколение будет знать обо мне лишь через рассказы тех, кто знал меня. Эти рассказы, вероятно, не будут для них столь важны, и поэтому они забудут о них в следующем поколении. Если мне повезёт, пара фактов о моей жизни всё ещё будет связана с моей попыткой достичь бессмертия. Но через несколько поколений останутся лишь пожелавшие книги с моим именем на корешке или здание, носящее имя, которое никому не знакомо, или правнуки, для которых я буду лишь местом на генеалогическом древе, если вообще буду.

Как ясно осознавал Марк Аврелий, в своих «Размышлениях» он пишет:

«Все вещи ускользают в покрытое мифами прошлое, и через короткое время окутываются забвением. Даже те, чья жизнь была озарена славой, постигнет это; а для остальных дыхание едва вышло из них, как они, по словам Гомера, "исчезли как из виду, так и из слуха"» (Кн. 4, §33).

Что объединяет все эти подходы к смерти? Что связывает игнорирование смерти, постоянное размышление о ней, принятие загробной жизни, идею о том, что смерть может прийти в нужный момент, и попытку оставить неизгладимый след в мире? Я бы сказал так: в том или ином смысле, все они игнорируют хрупкость жизни. Если мы хотим прийти к согласию с дилеммой, с которой мы столкнулись в конце предыдущей главы, нам нужно признать эту хрупкость и научиться жить с ней и в её пределах.

Апелляция к хрупкости жизни не добавляет ничего нового к тому, что мы уже сказали. Скорее, это способ подытожить предыдущие темы. Человеческая жизнь уязвима перед

смертью. Она может быть прервана смертью в любой момент. Из-за этого она хрупка не только в конце, но и на протяжении всего своего существования. В то же время эта хрупкость делает её ценной так, как она не была бы, если бы не была хрупкой. Мы заботимся о ней, ухаживаем за ней, интересуемся ею так, как не делали бы, если бы она не была хрупкой.

Подумайте об объекте, таком как старинные часы. Предположим, у вас есть такие, передаваемые из поколения в поколение. Вы могли бы убрать их в ящик или выставить в стеклянной витрине или на каминной полке. Это защитило бы часы, но за определённую цену. В каком-то смысле это уже не были бы часы. Это была бы музейная вещь, и тот факт, что она отсчитывает время, был бы неважен. В таком случае не имеет значения, работают ли внутренние механизмы часов, разве что вы могли бы похвастаться тем, что они идут, или аккуратно открыть их, чтобы показать устройство, а потом снова поставить их на полку или в шкаф. Это были бы уже не часы; это стало бы искусством, в стерильном смысле этого слова, как мы часто его используем. (Подумайте, насколько стерильными выглядят произведения искусства в музеях или галереях. Они кажутся вне контекста, висят на стенах или выставлены на пьедесталах в комнатах, предназначенных только для показа публике. Нет никакой интеграции этого искусства в человеческую жизнь, и это видно. Оно кажется оторванным от реальности так, как не казалось бы в чьей-то гостиной или офисе.)

Конечно, вы не обязаны обращаться со своими часами именно так. Вы можете пойти в противоположную сторону и относиться к ним просто как к практическому предмету. Это ведь часы; они показывают время. Вы надеваете их на запястье перед работой и бросаете их среди рабочей одежды в конце дня. Такое обращение хотя бы позволяет им выполнять свою функцию. Проблема в том, что если обращаться с антикварными часами слишком небрежно, они вскоре перестанут выполнять свою роль часов. Пользоваться часами по их назначению — это прекрасно, но всё же что-то не совсем правильно в том, чтобы обращаться с антикварными часами как с обычными «Таймекс». Эти часы заслуживают лучшего обращения, ведь они — ценный и хрупкий объект. Сломать «Таймекс» — не проблема, можно просто заказать новые. Но сломать эти часы — значит лишиться их навсегда.

Вероятно, лучший способ обращаться с такими часами — это носить их, но с осторожностью: не с навязчивой осторожностью, а с той осторожностью, которая позволяет наслаждаться ими, не злоупотребляя. Держите в уме мысль о том, что они на вас, и, может быть, время от времени смотрите на них, позволяя себе восхищаться их красотой, возрастом или характером. Нет одного правильного способа делать это. То, что вдохновляет вас в ношении старинных фамильных часов, может отличаться от того, что движет мной. Каждый из нас носит свои часы по-своему. Но каждый из нас носит их и старается уберечь от ненужных повреждений.

Это не означает, что с вашими часами ничего не случится. Вы можете попасть под дождь или забыть и окунуть запястье под кран. Ремешок может порваться. Кто-то может украсть их, когда вы снимете их и оставите без присмотра. Однако ни одно из этих событий не является оправданием для того, чтобы держать их на каминной полке или в стеклянном шкафу. Лучше носить их недолго, чем не носить вовсе.

Здесь аналогия, конечно, с человеческой жизнью перед лицом смерти. Мы должны задуматься о том, как жить, признавая, что мы умрём. Это не ведёт нас к бессмысленному самосохранению, которое стремится сохранить жизнь любой ценой. Это также не ведёт к игнорированию возможности смерти. Первое стремится к бессмертию, которого лучше бы не иметь. Второе действует так, как будто мы бессмертны, либо принимает смерть в ущерб жизни. Ни то, ни другое не признаёт, что человеческая жизнь хрупка, что она всегда подвержена смерти. Быть подверженным смерти — не значит умирать, а значит жить перед лицом неизбежной и неопределенной смерти. Нам нужно спросить себя, что значит жить таким образом, как можно жить хрупкой жизнью.

Существует множество способов. Мы сосредоточимся на проживании самой хрупкости, что эквивалентно жизни с осознанием, что ни смерть, ни бессмертие не хороши для нас, или, иначе говоря, что смерть является одновременно основным источником и основной угрозой для смысла жизни. Вопрос будет заключаться в том, как думать о нашей жизни в тени, отбрасываемой как смертью, так и этой дилеммой. Однако прежде чем мы перейдём к этому, стоит остановиться на подходе к жизни, который признаёт хрупкость жизни, не задаваясь вопросом, как жить внутри этой хрупкости. Этот подход заключается в том, чтобы отойти от хрупкости человеческой жизни и рассмотреть её в более широкой картине. Поместив её в эту картину, мы, возможно, ослабим свою привязанность к жизни, что сделает смерть менее пугающей. Мы видим свои жизни, хрупкие как они есть, менее важными, чем мы их себе представляем. И если наша жизнь менее важна, то и наша смерть также будет менее важной.

Один из способов подойти к этому предлагает древний эпикурейский философ Лукреций. У Лукреция есть несколько аргументов против вреда, причиняемого смертью. Один из них, напрямую заимствованный у Эпикура, мы уже видели. Это аргумент, что поскольку нас нет, чтобы переживать смерть, смерть ничего не значит для нас. Другой аргумент Лукреция, который мы здесь не будем рассматривать, заключается в том, что если нас не беспокоит то, что происходило до нашего рождения, нас не должно беспокоить и то, что будет после нашей смерти. Этот аргумент философы назвали «симметричным», поскольку он видит симметрию между тем, что было до, и тем, что будет после нашей жизни. Аргумент, который нас интересует, не говорит, что нам не следует заботиться о нашей смерти, или быть привязанными к жизни, или думать, что смерть — это ничто для нас; скорее, он касается других людей.

Люди рождаются постоянно. Если бы никто не умирал, мир стал бы перенаселённым. В наше время, в отличие от времени Лукреция, он уже перенаселён. Представьте, как было бы, если бы никто не умирал. Жизнь каждого ухудшилась бы. После определённого момента каждый новорожденный мог бы рассчитывать лишь на жизнь в условиях жёсткой конкуренции за немногочисленные ресурсы и ограниченное пространство на планете. Справедливым было бы, чтобы у каждого был шанс на достойную жизнь, а не на жизнь в перенаселённых и суровых условиях. Единственный способ этого добиться — дать каждому по очереди. Когда ваша очередь заканчивается, пора уступить место следующим. Смерть гарантирует, что каждый получит свою очередь. Это может быть не совсем справедливая очередь: жизнь некоторых людей короче, чем у других, и многие жизни идут хуже, чем у других, не по их вине. Смерть не решает все проблемы справедливости. Но, по крайней мере, она решает одну, обеспечивая, чтобы каждый уступил место следующему. Смерть — это как передача эстафеты следующему поколению.

Может возникнуть возражение против Лукреция: несколько абстрактно говорить о «очередях», принадлежащих людям, которые ещё не существуют. Если бы только существующие люди были бессмертны, то не было бы несправедливости. Несправедливость возникает только потому, что люди продолжают рождаться. Но многие люди, которые будут рождены, ещё даже не зачаты. Какая может быть несправедливость по отношению к ним, если никто не умрёт? Ведь их ещё даже нет. Кто такие наши дети, прежде чем мы встречаем тех, с кем становимся родителями? Никто, и к никому не может быть несправедливости.

Возражение против доводов Лукреция состоит в том, что в мире бессмертия невозможно было бы продолжение рождения новых людей без появления всех проблем, связанных с бессмертием, которые мы рассмотрели ранее. Если мы допустим существование бессмертия, но при этом продолжение рождения людей, это приведет к увеличению несправедливости для будущих поколений. Мы можем рассмотреть это следующим образом: дети, которые рождаются сейчас, приходят в мир, уже испытывающий нехватку ресурсов. Если те, кто сейчас жив, не умрут, эта нехватка лишь усугубится. Жизнь для этих детей по мере их взросления станет труднее. Более того, они могут не захотеть иметь собственных детей, чтобы не увеличивать нагрузку на ограниченные ресурсы. Таким образом, уже сегодня существуют люди, которым было бы несправедливо, если бы мы не освободили место. И эта несправедливость будет лишь нарастать с каждым новым поколением.

Аргумент Лукреция, таким образом, заключается в том, что справедливость требует, чтобы каждый человек получал свою очередь в жизни, а затем передавал её тем, кто ещё не имел такой возможности или ещё не прожил свою жизнь полностью. Этот аргумент значительно отличается от тех, что мы обсуждали до сих пор. Он не касается того, насколько хорошо или плохо проходит наша жизнь. Речь идёт не о том, что смерть делает с нами лично, а о

том, как наша смерть влияет на других. Лукреций не утверждает, что смерть хороша для того, кто умирает. Он говорит, что смерть полезна для тех, кто остаётся. Или, точнее, что смерть необходима для того, чтобы следующие поколения имели возможность жить достойно. В философском контексте этот аргумент относится к числу не самонаправленных, а направленных на благо других.

До этого момента в книге мы сосредоточивались на самонаправленных размышлениях о смерти, поскольку наш вопрос заключается в том, как жить с осознанием того, что мы умрём. Аргумент Лукреция переводит наше внимание с нас самих на других, которые нуждаются в доступе к ресурсам планеты. Можно было бы подумать, что этот аргумент не имеет отношения к нашему основному вопросу. Однако он всё же имеет значение, пусть и косвенно. Осознание несправедливости бессмертия может позволить мне немножко отстраниться от собственной жизни. В частности, это может помочь мне ослабить привязанность к своей жизни ради того, чтобы другие могли прожить свою жизнь полнее. Это может дать мне понять, что я не единственный, кто привязан к своей жизни, и что, возможно, мне стоит уменьшить свою привязанность или хотя бы посмотреть на неё с другой стороны, принимая во внимание нужды других людей. Таким образом, этот аргумент касается вопроса о том, как жить, осознавая неизбежность своей смерти.

Этот подход позволяет видеть собственную смерть в более широкой перспективе. Вместо того чтобы воспринимать свою смерть как нечто одиночное и личное, я становлюсь одним из многих людей, чья смерть вписывается в общий узор жизни и смерти. Моя смерть приобретает смысл и цель в этом большом узоре. Но эта цель отличается от той, что мы обсуждали в первой главе, где смерть должна была придавать смысл моей жизни. Здесь же речь идет о том, что смерть обретает смысл, освобождая место для жизней других людей. Смерть по-прежнему ничего не делает для меня лично, но она делает нечто важное для других, давая им возможность полноценно прожить свою жизнь.

Ещё один способ взглянуть на хрупкость жизни без отрицания её заключается в философии даосизма. Подобно аргументу Лукреция, даосизм также помещает жизнь и смерть человека в более широкий контекст, однако этот контекст отличается от того, что предлагает Лукреций. Мы уже видели, что даосское представление о «я» после смерти может быть истолковано как минимум двумя способами. Если человеческая жизнь — это волна в море бытия, то, кажется, после того как волна возвращается в море, от личности, которая жила, ничего не остается. Однако даосы иногда говорят так, будто нечто от человека всё же остается, но в рассеянном виде. Этот второй способ, в некотором роде, отрицает, что личность полностью исчезает после смерти. Однако давайте посмотрим на первый способ интерпретации, который мы уже обсуждали в экологическом контексте. В этом представлении смерть возвращает нас к большему космическому веществу, из которого мы возникли — и которое, по сути, мы никогда не покидали.

Этот взгляд сохраняет хрупкость жизни, на которой мы настаивали. Смерть преследует человеческую жизнь. Это не достижение и не цель, а всего лишь конец. После смерти от человека ничего не остаётся. Где же тогда утешение для смертных существ, осознающих свою неизбежную смерть?

Оно заключается в том, что происходит до нашего рождения и особенно после нашей смерти. В даосизме существует более широкий целостный процесс, частью которого является человек, будь он живым или мёртвым. Мы находим своё место в космическом процессе, наше существование — лишь мимолётный миг, но всё же миг. Сам процесс не имеет цели или смысла, так же как экосистема не может быть наделена смыслом или целью. Однако, даже после смерти, мы остаёмся частью этого процесса, и наше материальное наследие продолжает существовать в нём.

Вот аналогия. Когда люди участвуют в политической демонстрации или являются частью аудитории на важном спортивном событии, они часто чувствуют себя частью чего-то большего. Их собственное значение как личностей ослабевает. Это одна из причин, почему люди охотнее жертвуют своим временем и усилиями на политическую кампанию, чем готовы были бы сделать в обычных условиях. (В меньшей степени это применимо к спортивным событиям.) Когда человек ощущает себя частью большего целого, это целое приобретает большее значение, а сам человек начинает осознавать свою значимость через участие в этом целом. Даосизм предлагает похожий опыт, но в космическом масштабе. Жизнь и смерть человека — это часть процесса разворачивания вселенной. Быть частью этого процесса, пока ты жив, и оставаться частью этого процесса после смерти может придать смысл жизни и назначить смерти должное место, даже если сам процесс не имеет смысла за пределами себя.

В данном рассуждении автор анализирует, как различные философские взгляды — такие как даосизм и аргумент Лукреция — позволяют человеку справляться с осознанием хрупкости жизни и неизбежности смерти. Важно подчеркнуть, что ни один из этих подходов не пытается полностью отрицать эту хрупкость или предлагать способы её избежать. Вместо этого они предлагают разные способы ослабить её влияние на нас.

Даосизм, как и аргумент Лукреция, предлагает нам отступить от наших личных забот о жизни и смерти и рассматривать их в более широком контексте. Лукреций утверждает, что наша смерть приносит благо другим, освобождая ресурсы для следующих поколений. В даосизме, напротив, смерть видится как возвращение к более глобальному процессу вселенной, где жизнь и смерть — это просто моменты в бесконечном потоке космического бытия.

Однако для некоторых людей эти идеи могут показаться неудовлетворительными. Некоторые могут возразить, что, если космический процесс не имеет конечной цели, то и

наше место в нём лишено смысла. Если наша смерть не способствует благополучию других людей, как это предлагается в аргументе Лукреция, или если она не приводит к сохранению нашего «я», как в даосизме, то такой подход может не дать утешения.

Главное отличие этих двух подходов заключается в том, что они предлагают нам смягчить нашу привязанность к жизни, ослабить влияние её хрупкости, но при этом не предлагают глубинного осмыслиения того, как жить, зная о хрупкости своей жизни. Они предлагают способы думать так, чтобы хрупкость жизни казалась менее важной. Лукреций ставит на первый план благо будущих поколений, а даосизм предлагает видеть себя частью космического процесса, в котором наши индивидуальные жизни не имеют большого значения.

Эти подходы предлагают отступление от личной трагедии смертности, позволяя взглянуть на смерть с другой стороны. Однако они не отвечают на главный вопрос — как нам жить, зная о хрупкости нашей жизни? Автор подчеркивает, что эта хрупкость — это наша неизбежная реальность, и вопрос не в том, можем ли мы жить с этим знанием, а в том, можем ли мы интегрировать это знание в нашу жизнь, сделать его частью нашего осмысленного существования.

Знание о хрупкости жизни может стать для нас просто одной из множества незначительных фактов, как расстояние от Земли до Солнца, которое не влияет на наше повседневное существование. Но если, как утверждается в начале книги, смерть — это самый важный факт о нас, то осознание роли смерти в нашей жизни должно иметь значение в том, как мы размышляем о том, как жить. Вопрос в том, можем ли мы действительно осознать это знание и сделать его частью своей жизни?

Это не значит, что даосизм обязательно действует так для всех. Для некоторых осознание своего места в большем целом не приносит ни смысла, ни утешения. Потеря собственного «я» не компенсируется процессом, частью которого ты являешься. Есть и такие, кто настаивает, что если сам процесс не имеет конечного смысла, то и твоё место в нём не будет иметь смысла. В отличие от аргумента Лукреция, смерть человека не приобретает значение благодаря её вкладу в жизнь других людей. Некоторые могут посчитать отсутствие такого вклада препятствием для принятия даосского взгляда. Я привожу этот пример даосизма, потому что, как и в случае аргумента Лукреция, он не отрицает хрупкости жизни, а старается поместить эту хрупкость в более широкую перспективу, из-за чего она теряет свою власть над нами.

Обе эти точки зрения отличаются от многих других попыток избежать хрупкости, которые мы обсуждали ранее в этой главе. Сравним, например, аргумент Лукреция с верой в загробную жизнь. В последнем случае мы фактически переживаем свою смерть. Для Лукреция мы не переживаем смерть. Мы остаёмся подверженны ей на протяжении всей

жизни, как это было описано в первой главе. Жизнь хрупка, она всегда проживается в тени смерти. Однако, когда смерть наступает, она, по крайней мере, приносит пользу другим. В отличие от взглядов, которые предполагают загробную жизнь, после смерти от нас ничего не остаётся. Однако эта смерть, лишённая значения для нашей жизни, станет благом для других. И, косвенно, это может стать для нас утешением.

Сравним также даосскую точку зрения с взглядом Уильямса, который предполагает, что может наступить правильное время для смерти. Правильное время для смерти придаёт жизни целостность. Оно завершает её, придаёт ей надлежащее завершение. Даосизм же не заботится о целостности или завершении жизни. Жизнь и личность сами по себе не имеют значения для космического процесса, из которого они возникли и в который вернутся. Лишь тогда, когда человек отстраняется от собственных забот, даосизм раскрывает свои богатства. Смерть не придаёт смысл или место жизни. Именно место жизни и смерти в процессе придаёт им значение.

И аргумент Лукреция, и даосизм совместимы с хрупкостью жизни. В отличие от других точек зрения, они не стремятся отрицать или избежать этой хрупкости. Причина, по которой они это делают, заключается в том, что они предлагают нам воспринимать эту хрупкость менее серьёзно ради чего-то большего. Для Лукреция это что-то большее — жизнь других людей; для даосизма — это процесс, который стоит за жизнью и внутри неё. Этот отход от хрупкости жизни имеет ещё одно последствие. Если ни одна из этих точек зрения не отрицает хрупкость жизни, то это потому, что они её не осмысливают. Они не задаются вопросом, что значит жить хрупкой жизнью. Это не их забота. Вместо этого они задаются вопросом о том, как нам осмыслить жизнь так, чтобы хрупкость перестала нас волновать.

Если общий подход этих двух точек зрения — отступление от хрупкости жизни — не отрицает её, он также не погружается в те трудности, которые приносит эта хрупкость. Мы можем представить себе этот подход как сообщение: да, жизнь преследуется смертью, которая не имеет ни смысла, ни цели, и да, бессмертие было бы хуже, но если взглянуть на это с более широкой перспективы, всё это имеет меньшее значение, чем кажется. Это может быть важным посланием для некоторых, и я не хочу отрицать его потенциальную силу. Если этот подход, будь то в форме аргумента Лукреция (но не всей его философии, которая идёт в другом направлении) или даосизма, или в какой-то другой форме, принят, он может притупить власть смерти над нами. Однако он не отвечает — и не стремится ответить — на вопрос, который занимает нас здесь: как жить, зная о хрупкости жизни? Независимо от того, что может с нами произойти после смерти и как она повлияет на других, как каждый из нас может жить, зная, как выразился Нагель, что «всем нам уготован плохой конец»? Можем ли мы жить с этим знанием? Должны ли мы как-то обойти это знание, либо посредством какой-то формы бегства, либо посредством включения его в такую перспективу, где оно теряет свою силу?

Сначала давайте убедимся, что мы точно понимаем, о чём идёт речь. Вопрос не в том, можем ли мы жить в условиях хрупкости жизни. Если точка зрения, которую мы строили до сих пор, верна, то не только можем, но и должны. Хрупкость жизни — это просто наше текущее состояние. Мы живём, сталкиваясь со смертью, которая, если можно так сказать, является источником как смысла, так и бессмыслицы нашей жизни. Смерть является источником смысла по причинам, которые мы обсудили во второй главе в связи с бессмертием, и источником бессмыслицы по причинам, которые мы рассмотрели в первой главе. Вопрос в том, можем ли мы жить хрупкой жизнью, не стоит: хрупкость жизни — это наша ситуация.

Вопрос заключается в том, можем ли мы жить с осознанием этого факта. И даже здесь нужно уточнить. В каком-то смысле, мы всегда можем жить с осознанием хрупкости жизни. Вы можете прочитать эту книгу и согласиться с тем, что в первых двух главах ни смерть, ни бессмертие не предлагают нам того, что нужно для полноценной человеческой жизни. Вы можете сказать себе: «Да, это правда: смерть одновременно придаёт смысл и забирает его у человеческой жизни». А затем вы можете продолжить жить, как будто это не имеет значения. Вы забудете это, не в своих убеждениях, а в своей жизни. Если кто-то спросит вас, является ли жизнь хрупкой, как это описывается в книге, вы подтвердите это. Но это не окажет на вас никакого влияния. Это будет просто одним из множества фактов, как знание о том, что Земля находится в девяноста трёх миллионах миль от Солнца.

Проблема заключается в другом. Вопрос в том, можем ли мы жить не только в условиях хрупкости жизни, и не только с осознанием того, что жизнь хрупка, а можем ли мы жить в соответствии с этим знанием. Может ли это знание оказать влияние на наше восприятие жизни? Можем ли мы жить, основываясь на этом знании? Если моё утверждение в начале книги верно — что смерть является самым важным фактом о нас, — то осознание роли, которую смерть играет в нашей жизни, должно иметь значение в том, как мы размышляем о том, как жить. Можем ли мы интегрировать это знание в свою жизнь? Вот вопрос, который мы сейчас исследуем.

Может возникнуть искушение сказать, что мы не можем жить таким образом, потому что хрупкость жизни — это противоречие, и нельзя жить в противоречии. Если смерть одновременно придаёт и отнимает смысл жизни, то нам придётся жить обеими сторонами этого факта, что невозможно. Нам следует избежать этого искушения с самого начала. Всё-таки, неясно, могут ли люди жить с противоречием или нет. Часто в философии говорится, что нельзя верить в противоречие, или, по крайней мере, нельзя логично верить в него. Я не могу логично верить в то, что небо одновременно синее и не синее. Это справедливо. Но жить — это не то же самое, что верить. Возможно, люди могут жить с противоречиями, в которые они не могут верить.

Одна из задач психотерапии — выявить те противоречия, в которых живут люди, чтобы они могли столкнуться с ними. Теперь можно сказать, что такие жизни не проживаются логично, и это может быть так. Но нелогичность жизни — это не то же самое, что нелогичность веры. Это гораздо более сложное явление, чем одновременная вера и неверие во что-то.

Однако точный характер жизни в противоречии не должен нас задерживать, потому что хрупкость жизни не предполагает противоречия. Она предполагает трудность, которую можно выразить парадоксально, но не противоречие. Если мы говорим, что смерть является источником как смысла, так и бессмыслицы жизни, мы не высказываем какое-то противоречивое утверждение. Способ, которым смерть придаёт жизни смысл, и способ, которым она его отнимает, различны. Смерть придаёт жизни смысл, потому что она даёт ей возможность обрести форму, которую бессмертие бы отрицало. Она также придаёт моментам жизни ценность и срочность, которые отсутствовали бы, если бы жизнь продолжалась бесконечно. В то же время факт, что смерть постоянно присутствует — если не фактически, то хотя бы как возможность, — ставит наши отношения и обязательства под постоянную угрозу и гарантирует, что в конце концов они не сложатся в единое целое и не приведут к цели, которая придала бы нашей жизни окончательный смысл. Смерть может придать человеческой жизни форму, но ценой целостности. Она может дать возможность для страсти, но ценой того, что смысл этой страсти оказывается под угрозой.

Здесь есть тонкости, которые мы рассматривали на протяжении всей книги. Но хрупкость жизни не предполагает противоречия ни для веры, ни для самой жизни.

Даже если здесь нет противоречия, это не гарантирует нам, что мы сможем жить в условиях хрупкости жизни. Есть множество способов, которыми жизнь в соответствии с чем-то может оказаться невозможной. Предполагаемое противоречие было бы лишь одним из них. (И, как мы видели, оно может даже не быть одним из них.) Возможно, это просто слишком трудно — жить таким образом. Столкновение со смертью и её трудностями может оказаться непосильной задачей для человека. Это может быть эмоционально подавляющим. Или, с другой стороны, возможно, что хрупкость жизни не даёт нам никакого урока. Возможно, здесь нечего делать, кроме как признать власть смерти и двигаться дальше. Я подозреваю, что немногие читатели соблазняются этим вариантом, и я тоже нет. Но если есть чему научиться, если в хрупкости жизни есть что-то, что мы можем постичь и интегрировать в свою жизнь, что это такое?

Существует множество способов подойти к этому вопросу. Я бы хотел начать с одного древнего философа, который, на мой взгляд, уловил часть истины. Мы можем следовать его мыслям настолько далеко, насколько они нас приведут, а затем продолжить их, чтобы увидеть, как может быть возможна жизнь в условиях хрупкости. Философ Марк Аврелий стал приверженцем доктрины стоицизма и посвятил себя жизни в соответствии с тем, что он считал её предписаниями. Стоицизм — это сложное учение, которое включает в себя

вопросы не только о жизни, но и о науке и логике. Нам не нужно останавливаться на общей структуре стоицизма, за исключением того, насколько это имеет отношение к стремлению Аврелия встретить свою жизнь и свою смерть по-стоицки.

Попытки Аврелия жить стоически выражены в его «Размышлениях», из которых мы уже цитировали отрывок. Однако мы должны чётко понимать, что такое «Размышления», потому что их легко неправильно истолковать. Мои студенты говорили мне, что читали Аврелия и находили его назидательным и повторяющимся. И если читать «Размышления» как серию лекций, именно так они и будут восприниматься. Там множество повторяющихся призывов о том, как нужно поступать, как нужно жить и почему мы этого не делаем. Однако хитрость в чтении «Размышлений» заключается в том, что это не лекции. Это размышления, которые Аврелий записывал, чтобы справиться со своей жизнью. Они не предназначались для публикации или для чтения другими. По сути, это запись борьбы одного человека с самим собой, чтобы жить в большей степени в соответствии с тем, во что он верил. Французский историк античной философии Пьер Адо назвал их духовными упражнениями.

Что такое духовное упражнение? Это определённого рода умственное упражнение. Мы делаем такие упражнения каждый день, обычно, когда готовим себя к чему-то, что нам нужно сделать, вытерпеть или перенести. Перед важной презентацией люди часто визуализируют её: они представляют себе, как будут делать те или иные моменты, стоять перед группой людей. Когда я готовился к бегу на милю, я часто представлял себе каждый круг, пытаясь мысленно увидеть, как я бегу. Идея таких умственных упражнений заключается в том, чтобы подготовить себя к тому, что должно произойти. Выполняя их, человек как бы надевает определённую ментальную броню или укрепляет свою эмоциональную стойкость. Тогда, когда он сталкивается с трудностями презентации или забега, или чего-то другого, это уже не становится неожиданностью. Да, говоришь себе, вот то, что я ожидал.

Духовное упражнение — это умственное упражнение особого рода. Оно стремится подготовить человека к жизни так, как он считает нужным, несмотря на все отвлечения и искушения, которые предлагает мир. «Начинай каждый день», — пишет Аврелий, — «говоря себе: сегодня я встречу препятствия, неблагодарность, наглость, неверность, злобу и эгоизм — всё это происходит из-за незнания обидчиками того, что есть добро и зло» (Книга 2, §1). Как стоик, Аврелий не хочет, чтобы его поведение диктовалось поступками других людей. Он хочет оставаться в мире с самим собой. Поэтому он напоминает себе, что нужно подготовиться к тем вещам, которые могут лишить его этого внутреннего мира.

Многие древние философы практиковали духовные упражнения. Особенно по утрам, перед началом дня, и вечером, как своего рода духовную оценку прожитого дня, они

напоминали себе о том, что важно, как они стремятся жить, что может встать у них на пути и как они должны с этим справляться. Духовные упражнения представляют собой своего рода представление своей повседневной жизни, но в рамках более широкой философской перспективы.

«Размышления» Марка Аврелия — это запись серии духовных упражнений. Возможно, это лучшая запись такого рода, дошедшая до нас. Они показывают нам человека, работающего над собой, стремящегося стать лучше, более stoическим. Если смотреть на них таким образом, наставления, характерные для «Размышлений», — это не назидательные советы другим, а выражения борьбы человека с самим собой, который часто видит себя неудачником. Как будто он часто говорил себе: ты знал, что было важно вчера, но всё равно не будешь следовать этому сегодня: «Вспомни о многих годах промедления, как боги снова и снова дарили тебе дальнейшие периоды милости, которыми ты так и не воспользовался» (Книга 2, §4).

Большая часть того, что Аврелий пишет самому себе, касается смерти. Он призывает смерть, чтобы помочь себе жить так, как следует. Часто он использует смерть, чтобы научиться жить в соответствии со stoическим убеждением, что существует только настоящее. Будущего ещё нет, а прошлого уже нет. Надо жить полностью в настоящем. Размышления о смерти помогают осознать это как минимум двумя способами, оба из которых предполагают ограничение своих забот о будущем. Во-первых, как мы уже видели, смерть может наступить в любой момент. Поскольку будущего не существует, ничто из него не гарантировано. У нас могут быть годы жизни, а может остаться всего один день. Так что мы не можем жить с ожиданиями относительно будущего. Мы можем только сделать своим долгом настоящее. Мы должны жить хорошо сейчас, не беспокоясь о будущем, форма и существование которого нам не ясны.

Стоики вписали это убеждение в другое, которому многие из нас больше не склонны следовать. Это вера в то, что вселенная по своей сути рациональна, что всё происходит с разумной целью. Конечно, мы иногда говорим себе, что «всё происходит по какой-то причине», и это высказывание близко к stoической доктрине по своей сути благожелательной вселенной. Однако неясно, понимаем ли мы это так же буквально, как стоики. Чаще всего это просто фраза или смутная надежда, а не философская доктрина, подобная той, что исповедовали стоики.

Нуждаемся ли мы в этой доктрине, чтобы следовать акценту Аврелия на настоящем? Я так не думаю. Его забота о настоящем может тронуть нас, даже если мы не доверяем абсолютной рациональности вселенной. Его точка зрения не в том, что, если мы позаботимся о настоящем, всё в будущем наладится. Скорее в том, что будущего нет: есть только настоящее. Мы не можем жить в том, чего не существует или что мы не можем контролировать. Независимо от того, считали ли стоики, что то, что мы не можем

контролировать, в конечном счёте рационально, или же мы верим, что вселенная случайна или произвольна, мы всё равно можем принять стоическое убеждение, что существует только настоящее. Это сердце первой роли, которую смерть играет в медитациях Аврелия.

Вторая роль, которую смерть играет для него, заключается в том, чтобы напомнить нам, как быстро каждый из нас будет забыт. Мы делаем многое, чтобы произвести впечатление на мир, чтобы нас запомнили, чтобы оставить отпечаток своего существования. И всё же, как Аврелий часто напоминает себе, после смерти нас быстро забывают. Наше наследие коротко в масштабе истории. «Все мы, — напоминает себе Аврелий, — существа одного дня: и помнящий, и тот, кого помнят» (Книга 4, §35). Трудно представить, как нелегко римскому императору оставаться скромным в этом отношении; должно быть сильное искушение думать, что его решения и действия будут иметь долгосрочные последствия. Аврелию было нелегко постоянно напоминать себе об ограниченности собственной жизни. (Иронично, что, постоянно напоминая себе о том, как быстро его забудут, он и его труды остаются объектом стольких размышлений и исследований.)

Для Аврелия роль смерти в его медитативной жизни — это заставить себя жить в настоящем. Напоминание о случайности будущего и краткости его влияния помогает ему сосредоточиться на том, чтобы жить хорошо здесь и сейчас. Мы должны чётко понимать, что он имеет в виду под «жить хорошо сейчас». Это имеет нечто общее, но только в малой степени, с подходом к жизни, который часто заключён в фразе «живи для сегодняшнего дня». Жить для сегодняшнего дня часто означает наслаждаться моментом, позволять себе всё, что хочется в данный момент. Подразумевается, что будущее не гарантировано, поэтому нужно сосредоточиться на настоящем моменте. Купите этот новый костюм, поешьте в дорогом ресторане, не идите на работу, потому что будущее неопределённо. Или, как говорили некоторые древние римляне (вовсе не Аврелий): ешь, пей и веселись, ибо завтра мы умрём.

Аврелий не был гедонистом. Стоическая точка зрения гораздо больше сосредоточена на том, чтобы научиться жить в мире с самим собой и делать добро другим. Когда Аврелий призывает себя жить в настоящем, это делается, чтобы оторвать себя от любых ожиданий, которые он мог бы возложить на будущее, и сосредоточиться на том, чтобы жить правильно. Если будущее не может гарантировать ему материального успеха, хорошей репутации или даже долгой памяти, то было бы глупо беспокоиться об этих вещах. Всё, что он может контролировать, это то, как он живёт в настоящем. Итак, что он должен делать — это жить так, как должен, в данный момент. Быть в мире с собой, хорошо относиться к другим, осознавать, кто он есть: вот задачи, на которых размышления о смерти помогут ему сосредоточиться.

В идее Аврелия о жизни в настоящем содержится многое, что отвечает на вопросы о смерти, которые мы подняли до сих пор. Если смерть неизбежна и неопределённа, и если

она не приносит никакого завершения нашей жизни, тогда стоит переориентироваться на настоящее. Как знает Аврелий, будущее не даёт нам никаких гарантий. Более того, смерть — это не то, ради чего стоит жить, поскольку она не придаёт целостности нашей жизни. Следовательно, лучше жить в настоящем, если не обязательно для момента. Нам не обязательно быть стоиками, чтобы решиться жить в настоящем. Мы можем решить жить по-другому. Но как бы мы ни решили жить, урок смерти заключается в том, что эта жизнь должна быть сосредоточена на настоящем. Урок Аврелия, применённый к вопросу смерти, заключается в том, что мы должны жить в настоящем, не заботясь о будущем, чьё существование неопределённо.

Эта идея, хотя и соблазнительна, не является достаточной. Она недостаточна для нашего понимания смерти и, как я вскоре укажу, недостаточна для понимания жизни самим Аврелием. Безусловно, это его официальная доктрина, но он живёт иначе, чем учит его официальная доктрина, которая, по сути, отражает только половину правды. Но прежде всего стоит отметить недостаточность жизни в настоящем относительно нашего понимания смерти. Смерть, как мы видели, неопределённа. Она может прийти в любой момент. Она может прийти завтра. Но, с другой стороны — и это другая сторона медали — она может не прийти завтра. Любой из нас может жить ещё долгие годы. Большинство из нас так и будет. Проблема жизни в настоящем заключается в том, что это значит действовать так, как если бы будущего действительно не существовало. Это значит относиться к смерти так, как будто она неизбежна, как будто она придёт завтра.

Здесь нужно быть осторожными, потому что легко ошибиться. Дело не в том, что доктрина жизни в настоящем говорит, что смерть придёт завтра: вовсе нет. Но жизнь в настоящем — это отношение к жизни так, как если бы смерть придёт завтра. Причина в том, что это полностью устраниет заботу о будущем. Человек живёт сейчас, не заботясь о будущем, которое неопределённо. Но неопределённое будущее значит не только то, что его может не быть, но и то, что оно может быть. Игнорировать будущее — значит игнорировать вторую возможность. Таким образом, это означает действовать так, как если бы смерть придёт завтра. Если мы хотим жить в соответствии с нашим пониманием смерти, если мы хотим жить с осознанием хрупкости нашей жизни, мы должны учитывать не только то, что смерть может прийти завтра. Мы также должны учитывать, что она может не прийти.

И, по сути, именно так поступает Аврелий, хотя он и не говорит этого самому себе. Он воспринимает проект стать стоиком как нечто, чему нужно научиться со временем. Он не является стоиком; по крайней мере, так он сам себе говорит. Он хотел бы им стать. Он признаёт, что ему это не удаётся. Поэтому он должен работать над тем, чтобы стать стоиком. Конечно, он должен работать над этим сейчас. Но ему нужно продолжать работать, пока он не станет лучше в этом. Короче говоря, стать хорошим стоиком — это проект для Аврелия, проект, который продолжается и требует временной приверженности. В этом, конечно, есть некоторая срочность. Эта срочность проистекает из

неопределённости будущего. У него может не быть больше времени, чтобы посвятить себя тому, чтобы стать лучше как стоик. Но также у него может быть это время, и, вероятно, ему нужно это время, чтобы научиться становиться более дисциплинированным в своей жизни.

Здесь можно возразить, что это ошибочное понимание того, что пытается сделать Аврелий. В конце концов, разве его проект не состоит в том, чтобы научиться жить в настоящем? Даже если проект разворачивается во времени, когда (и если) он его выполнит, он будет жить в настоящем, а не ради будущего. Я не думаю, что это точная характеристика того, что он пытается сделать. Это его собственное мнение, конечно. Но оно не вполне отражает то, как он хочет жить. Например, как стоик он хочет содействовать благополучию других людей и общества. Для того чтобы содействовать благополучию других, необходимо учитывать будущее. Например, если я хочу содействовать вашему благополучию, это будет иметь значение, если я знаю, что вы умрёте завтра. Я, вероятно, сосредоточусь на других вещах по сравнению с теми, на которых я бы сосредоточился, если бы знал, что у вас впереди много лет жизни. Таким образом, то, как я отношусь к вам, если я стремлюсь к вашему благополучию, зависит от того, как я думаю о вашем будущем. Если ваша смерть неопределённа (хотя и неизбежна), мое поведение по отношению к вам будет отражать это понимание. Невозможно заботиться о ком-то хорошо, не имея хотя бы какого-то представления о том, как может выглядеть его будущее или что способствовало бы его благополучию в условиях неопределенного будущего. Аврелий учитывает это в своем поведении, хотя это не находит отражения в его философских размышлениях о своем поведении.

Таким образом, «Размышления» Аврелия и жизнь, которую он стремится прожить в соответствии с ними, не совсем представляют собой жизнь в настоящем. Это жизнь в настоящем и одновременно в неопределенном будущем. В его мысли есть напряженность; или, точнее, есть напряженность между его мыслями и тем, к чему они его ведут. Это напряжение подводит нас к более глубокой проблеме. Стоическая доктрина подчеркивает, что следует стремиться контролировать только то, что действительно можно контролировать. Нельзя контролировать, как устроен мир; можно контролировать только то, как ты на него реагируешь. Это и есть источник того, что люди воспринимают как стоическое поведение: поведение, которое спокойно реагирует на невзгоды. Для стоицизма необходимо никогда не возлагать надежды на то, что предложит мир. Мир часто разочаровывает. Если вы возлагаете свои ожидания и надежды на мир, вы обрекаете себя на это разочарование. Более того, вы отдаёте контроль над своей жизнью миру. Лучше сохранить контроль за собой. Если вы не можете контролировать то, что происходит в мире, сосредоточьте свои усилия на том, что вы можете контролировать: на том, как вы живёте в этом мире; и, что более важно, на том, как вы реагируете на его превратности.

Это и есть источник акцента Аврелия на жизнь в настоящем. Будущее — это то, что невозможно контролировать. Можно влиять на будущие события, но это влияние

неопределённо. И, конечно, прошлое нельзя контролировать. Оно уже произошло и не может быть изменено. Можно контролировать только настоящее: то, кем вы являетесь сейчас, в этот момент. Жить в настоящем, как этого хотел бы Аврелий, — это стремиться контролировать, кем ты являешься по отношению к себе и к другим в единственной части твоего временного существования, которую ты действительно можешь контролировать. Это соответствует стоической доктрине.

Проблема, как я утверждаю, заключается в том, что это невозможно; или, по крайней мере, это невозможно, если ты хочешь быть стоиком. Возможно, это возможно, если всё, чего ты хочешь, — это жить для момента. Но это не то, чего хотят стоики или большинство из нас. Проблема здесь — и это более глубокая проблема, о которой я только что упомянул — касается контроля. То, чего хочет стоик и что отражает желание Аврелия жить в настоящем, — это контролировать, кем ты являешься и кем ты становишься. Но если то, что я здесь говорю, верно, тогда это желание контроля упускает из виду один из аспектов смерти: неопределенность будущего. Жить только в настоящем — значит стремиться исключить будущее из рассмотрения. В этом смысле оно признаёт неизбежность смерти, но пытается избежать её неопределенности.

Неопределенность смерти двусторонняя. Это означает, что человек не может быть уверен в том, что у него будет будущее. Это также означает, что он не может быть уверен в том, что у него не будет будущего. Жить с неопределенностью смерти — это принять обе эти стороны, а не только одну. Проект Аврелия по жизни в настоящем охватывает первый аспект, игнорируя второй. Чтобы жить с полным осознанием смерти, нужно уметь охватить обе стороны неопределенности одновременно. Аврелий ухватился за одну сторону, но упускает другую. Как он хочет жить, не игнорирует её. Как он думает, что хочет жить, — игнорирует.

Таким образом, жить в настоящем — это одна сторона монеты жизни перед лицом смерти. Жить с неопределенным будущим — это другая. Чтобы проживать хрупкость жизни, нужно уметь делать и то, и другое одновременно. Это задача, полная напряженности, но, возможно, не невыполнимая. И в любом случае, это то, что можно делать постепенно, совершенствуясь в этом, чтобы жить перед лицом смерти более полно, чем раньше.

Чтобы понять, как это работает, давайте вспомним, что такое хрупкость жизни. Это уязвимость жизни перед смертью на каждом её этапе. Эта уязвимость одновременно является источником ценности и значимости жизни (как мы увидели в Главе 2 о бессмертии) и источником её неустойчивости (как мы видели в Главе 1). Это то, что придаёт нашим жизням смысл, но одновременно может вызвать ощущение бессмыслицы. Жить в настоящем — это уловить что-то важное в хрупкости жизни, но лишь одну её сторону. Жить в настоящем — значит признать, что будущего может не быть, что смерть может прийти завтра, и поэтому нужно максимально полно пребывать в

моменте. Для этого не нужно быть стоиком. Существует множество способов жить в настоящем. Урок, который я хочу извлечь из опыта Аврелия, заключается не в том, что, живя в настоящем, мы обязательно станем стоиками. Скорее, будущее неопределенно, и это толкает нас к жизни в настоящем. Как именно жить в настоящем — это задача, которую каждый из нас должен решить сам.

Но это только часть; другая часть касается жизни с учётом неопределенного будущего, а не в его игнорировании. Это означает погружение в проекты с осознанием того, что все они уязвимы перед лицом смерти и что неизбежно некоторые из них будут прерваны смертью. Вспомним, что одной из ключевых характеристик человека является наличие проектов, которые простираются в будущее. Мы живём в будущем так же, как и в настоящем. Представьте, что вы пытаетесь жить без проектов, без карьерных планов, отношений или увлечений. Это центральные элементы человеческой жизни. Столкнувшись со смертью и хрупкостью жизни, мы не можем отказаться от своих проектов ради жизни в настоящем. Мы должны как-то интегрировать их. И сейчас для нас вопрос заключается в том, как мыслить эту интеграцию. Мы видели, что Аврелий, похоже, оставался погружен в свои проекты, даже когда думал, что пытается жить исключительно в настоящем.

Может показаться, что это противоречие — пытаться жить в будущем в рамках своих проектов и одновременно жить в настоящем. Кажется, что идея состоит в том, чтобы жить в настоящем и одновременно не жить в нём, и всё это одновременно. Если так выразиться, это действительно кажется невозможным. Но это не обязательно так. Между жизнью в настоящем и погруженностью в свои проекты, которые простираются в будущее, нет противоречия. Можно жить настоящим моментом и одновременно быть вовлечённым в проекты, устремленные в будущее.

Вот аналогия, которая может объяснить эту идею. Когда я еду на дальнее расстояние с кем-то, кто мне нравится, мне приятно с ним разговаривать. У меня есть друг-философ, с которым я планировал «дорожные поездки» на конференции, чтобы было время поговорить в машине. Наши разговоры долгие, охватывающие политику, философию, окружающую среду и состояние нашей жизни. Я смотрю на дорогу, слежу за трафиком и оцениваю, сколько ещё предстоит проехать. Но я также очень вовлечён в общение с другом. Я одновременно нахожусь в настоящем в наших отношениях и в будущем, управляя машиной. Здесь нет противоречия. Моя жизнь, как и жизнь каждого из нас, способна на оба аспекта.

Эта аналогия также учит нас чему-то большему. Мои отношения с другом — это нечто, что я проектирую в будущее. Мы иногда обсуждаем планы на совместную работу в будущем, и даже когда не обсуждаем, на фоне наших разговоров присутствует идея, что наши отношения, скорее всего, не закончатся этой поездкой. Я одновременно в настоящем и в будущем с моим другом. Эта двойственность — временные рамки наших отношений.

Если мы рассматриваем жизнь в настоящем как нечто, исключающее проекцию в будущее, то, конечно, кажется невозможным жить в настоящем и устремляться в будущее. Но нет причин так думать. Как и в моих отношениях с другом, эти два аспекта могут быть переплетены; они не являются взаимоисключающими. Если это так, то вопрос становится таким: как жить, ориентируясь на будущее, перед лицом смерти? Как мы можем брать на себя проекты, зная, что у нас нет контроля над смертью, и что она неизбежна и неопределенна? Как мы можем принять вызов жизни, устремленной в будущее, которое может или не может дать нам время для реализации наших текущих проектов?

Задача состоит в том, чтобы жить в будущее, осознавая его контингентность. Это значит заниматься проектами с полным признанием того, что некоторые или все они могут быть прерваны смертью.

Эта задача может показаться сложной, но у нас есть союзник. Это — настоящее. Мы можем выразить это так: мы живём будущим в настоящем. Мы не уклоняемся от факта, что будущее может быть у нас отнято, и что рано или поздно это произойдёт. Однако это не мешает нам проектировать будущее, ведь отказ от этого означал бы отказ от значительной части того, что делает нас людьми. Но мы не воспринимаем будущее как данность. Мы не считаем его само собой разумеющимся. Смерть напоминает нам об этом. Единственное, что мы можем воспринимать как данность, как заметил Аврелий, — это настоящее. Таким образом, мы принимаем будущее в настоящем. Мы живём в настоящем и в неопределенном будущем одновременно.

Как это может быть реализовано? Позвольте мне предложить пример. Этот пример не следует рассматривать как модель. Нет модели того, как жить настоящим и неопределенным будущим в настоящем. Но пример может сделать идею более конкретной. Во время написания этой книги я много размышлял о смерти. Идеи, представленные здесь, захватили меня сильнее, чем обычно. В конце концов, как и большинству людей, мне не нравится долго размышлять о смерти. Возможно, единственный другой раз, когда я настолько долго размышлял о смерти, был во время семинара на эту тему, который я проводил несколько лет назад. Итак, когда я писал эту книгу, мне пришлось столкнуться с возможностью, что книга может остаться незавершённой. Я задумывался о том, как воспринимать эту книгу, зная, что она, возможно, никогда не увидит свет. Эта возможность стала немного более осозаемой на прошлой неделе. Когда я почти закончил книгу, я отправился на неделю в тропический лес в Коста-Рике, зная, что такая поездка сопряжена с определёнными опасностями. (Должен признаться, однако, что не ожидал встретить несколько ядовитых змей, и мне повезло, что был проводник, который показал их.) Учитывая темы книги, вероятность того, что она не будет завершена, оказалась темой, которую мне пришлось принять во внимание.

Как это влияет на моё отношение к написанию книги? Я не могу сказать, что сам процесс написания книги — это полностью самоцель. Вероятность, хотя и малая, что рукопись не будет завершена, меня расстраивала. Но это не было источником отчаяния. Это важное различие. В Главе 1 мы рассматривали возможность отчаяния перед лицом смерти. Однако непредсказуемость будущего не обязательно приводит к отчаянию. Почему? В моём случае я могу назвать как минимум две причины. Во-первых, мне нравится писать. Садиться за компьютер каждый день с мыслями, которые кажутся стоящими, приносит мне смысл. В этом смысле я могу жить настоящим с этой книгой. Работа над идеями не требует будущего. Это своего рода настоящее по Аврелию (за исключением того факта, что в процессе написания я также думаю о том, куда направляются идеи и как я буду развивать их в дальнейших частях книги).

Но было бы самообманом сказать, что у меня не было никакой заинтересованности в завершении книги. Я хотел, чтобы книга была завершена и в конечном итоге опубликована. (Как философ, я, конечно, не задумывался о потенциальных продажах, это не занимало моих мыслей.) Я проектировал это будущее, когда писал. Но я осознавал, особенно в случае с этой книгой, что это будущее может не осуществиться. Именно с этой непредсказуемостью я старался смириться. Это проектирование в будущее задачи, которая может не быть доведена до конца. Это пребывание с этой задачей в настоящем, несмотря на её неопределённость.

Насколько хорошо у меня это получается? Более или менее. Я осознаю, что хотел бы делать, так же как и Аврелий осознавал, чего хотел бы достичь. Есть люди, которые делают это намного лучше, чем я, даже если они не прошли через философский процесс, описанный в этой книге. Я осознаю, чего хочу добиться, и пытаюсь. Но разве не в этом большинство из нас проживает свою жизнь?

Приведу ещё один пример. Джазовый саксофонист Джон Колтрейн умер в 1967 году до своего сорок первого дня рождения. Спустя более сорока лет саксофонисты до сих пор играют под его влиянием. Колтрейн играл со многими великими джазовыми музыкантами своего времени, такими как Телониус Монк и Майлз Дэвис, прежде чем создать свой квартет в 1960 году. С этим квартетом, в различных его составах, он начал исследовать пределы джазовой музыки. Он изучал не только джаз, но и индийскую и восточную музыку, а его игра на саксофоне начала приобретать всё более духовную направленность. Его игру на саксофоне однажды описали как «потоки звука». Он играл каскады нот, которые имели почти трансовое качество. Я видел несколько зернистых кадров его выступлений в середине 1960-х годов, и действительно, он выглядел как человек, полностью погруженный в свой инструмент и звуки, которые он извлекал.

Колтрейн был не только экспериментатором, но и строгим практиком, играя гаммы и риффы часами каждый день. Один из музыкантов, игравший с ним, однажды стал

свидетелем того, как Колтрейн с восторгом нашёл новые гаммы для практики и немедленно захотел уединиться, чтобы начать работать над ними. Когда он выступал, он был готов к экспериментам, потому что освоил все стандартные звуки саксофона и вариации, которые ему предшествовали.

Хотя Колтрейн явно не размышлял о смерти, его жизнь была прожита с ощущением хрупкости. В отличие от многих из нас, эта хрупкость была сосредоточена в одном направлении — игре на музыке. Однако он подходил к своей музыке так, как я предлагаю подходить к жизни и смерти. Нет сомнений в том, что как на сцене, так и за её пределами Колтрейн жил в моменте своего музенирования. Он был полностью поглощён своим инструментом и звуками, которые извлекал из него. Никто, кто видел его выступления, не сомневается в этом. Однако это погружение не означало, что он не мог направлять свои соло в будущее. Элвин Джонс однажды заметил, что люди, наблюдавшие за его игрой, ошибочно принимали его за человека, потерявшегося в музыке. Напротив, как отметил Джонс, хотя Колтрейн и был погружен в музыку, он всегда, казалось, знал, что делает и куда хочет двигаться. Это не означает, что он знал, где окажется в конце. Но, находясь в моменте, он одновременно не был полностью в этом моменте. Колтрейн был одновременно погруженным, проекционным и исследовательским. Возможно, именно эта уникальная комбинация до сих пор окружает современный джаз своим заклинанием.

Большинство из нас не имеют такой приверженности к одному проекту, какой обладал Колтрейн. Это не должно удивлять. Большинство из нас не обречены на величие. Однако это не означает, что мы не можем в своих собственных путях жить как в настоящем, так и в будущем. Мы, за исключением немногих из нас, более рассеяны по разным проектам, чем Колтрейн был в своём, — или чем другие великие музыканты, учёные и спортсмены. Но мы можем участвовать в этих проектах как в настоящем, в котором мы живём, так и в будущем, которое у нас может быть или не быть впереди. Мы можем жить своей жизнью, строить карьеру, взаимодействовать с друзьями и следовать своим увлечениям, одновременно полноценно живя в моменте и осознавая неопределенность будущего.

Если мы будем это делать, особенно перед лицом признания смерти и хрупкости жизни, мы с большей вероятностью будем чувствительны к различию между важным и незначительным в нашей жизни. Смерть помогает отделить зёरна от плевел в жизни. Это не означает, что каждый момент должен быть возвышенным переживанием. Стремиться к этому значило бы пренебрегать будущим ради настоящего. Проекты требуют приверженности будущему, которая почти всегда требует какой-то степени рутинной работы. Детей нужно отвозить в школу. Политическая кампания требует, чтобы кто-то заполнял и складывал конверты или раздавал листовки на улицах. Овладение музыкальным инструментом требует многочасовых упражнений. В любовных отношениях кто-то должен пойти в магазин, постирать бельё или отвезти машину в автосервис, чтобы проверить этот шум. Смерть не отменяет этих вещей. Вместо этого она выполняет две

другие задачи. Во-первых, она спрашивает нас, какие из наших проектов действительно стоят того, чтобы их продолжать. Что важно, а что нет? Легко, идя по жизни, взять на себя проекты, которые не добавляют значимости в нашу жизнь или остаются с нами только по привычке. Признание факта своей смертности помогает отсеивать те проекты, которые в какой-то степени способствуют тому, чтобы мы стали теми, кем хотим быть.

Другая задача, которую выполняет осознание смерти, касается не наших проектов, а того, как мы их выполняем. Эта задача как минимум так же важна, как и первая, а возможно, даже более важна, поскольку она касается искушений, в которые мы слишком легко попадаем. Моя работа — конечно же, в академии. Она важна для меня. Перед лицом неминуемой смерти я бы бросил её в одно мгновение, чтобы быть с теми, кого люблю. Это означает, что я бы жил исключительно в настоящем. Но перед лицом смерти, которая неизбежна и неопределённа, проекты, связанные с моей работой, значимы для моей жизни. Однако есть множество вещей, которые возникают в этой работе, но не имеют значения, и трезвый взгляд на смерть позволяет мне либо отстраниться от них, либо хотя бы сделать шаг назад. Те, кто также работает в академии или в любой крупной организации, хорошо понимают, о чём я говорю: офисная политика — кто получает угловой кабинет, кого начальник любит или не любит, как именно структурирована схема ответственности, кто получает незаслуженные привилегии или немного больше денег на поездки, какие полномочия получает каждый человек. У каждой работы есть своя политика, и многие из нас рано или поздно поддаются этому искушению. Я бы хотел сказать, что всегда стою выше этого, но это не так. И в большинстве случаев, когда я вовлекаюсь в это, я жалею об этом, когда всё стихает.

Смерть даёт нам перспективу на всё это. Она ставит вопрос: если ты умрёшь, не зная, когда это произойдёт, стоит ли тебе действительно участвовать в этой части своего проекта? Конечно, существуют микрополитические проблемы, которые действительно важны. Например, сексизм и расизм проникают в рабочие места под видом офисной политики и должны быть пресечены. Но большая часть того, что мы называем офисной политикой, на самом деле не имеет значения. Наше вовлечение в нее показывает не столько нашу способность ориентироваться в рабочей среде, сколько то, что мы забываем о собственной смертности. Когда мы погружаемся в проекты, равно как и когда выбираем, чем заниматься, осознание смерти помогает нам отделить важное от незначительного, то, что имеет значение для нашего настоящего и будущего, от того, что не имеет.

Все это исходит из осознания хрупкости жизни. Зная, что мы умрем, удерживая эту мысль в голове, мы различаем, что действительно важно, а что нет. Мы отпускаем проекты, которые мы приняли по причинам, которые больше не имеют значения для нас. В тех проектах, которые мы продолжаем, мы стараемся избежать мелочных моментов. Вместо этого мы сосредотачиваемся на тех аспектах, ради которых и начали заниматься этими проектами. Жизнь, как мы говорим, слишком коротка. Во-первых, она буквально слишком

коротка. Она всегда слишком коротка, даже если бессмертие слишком долго. Во-вторых, жизнь слишком коротка, чтобы отвлекаться на проекты, споры, разочарования и искушения, которые в конечном счете не имеют значения.

Хрупкость жизни говорит нам о том, что именно смерть одновременно угрожает и придает смысл нашим жизням. Без смерти у меня не было бы причин выбирать между проектами, которые передо мной стоят. Офисная политика могла бы не иметь значения, но у меня не было бы причин избегать ее. Однако со смертью я должен делать выбор. И делая его, я должен признать, что мои решения могут или не могут быть доведены до конца. Сейчас, когда я молод и здоров, у меня больше шансов увидеть, как мои проекты развиваются дальше. Мои дружеские отношения, моя карьера, мои семейные связи, мое творчество — все это, вероятно, имеет будущее. Но никакой гарантии нет; и в то же время они не обречены на исчезновение с самого начала. С возрастом вероятность их исчезновения возрастает. Но эта угроза всегда существует.

Хрупкость жизни не ведет меня к отказу от моих проектов, но учит жить ими в их уязвимости. Я не отказываюсь от своих проектов ради того, чтобы жить только настоящим. Но и не жертвуя настоящим ради проектов, которые всегда находятся под угрозой смерти. Я соединяю два измерения — настоящее и будущее: первое в его существовании, второе — в его неопределенности. Вот что значит жить, осознавая неизбежность смерти.

Смерть — это высший источник как трагедии, так и красоты человеческой жизни. Более того, трагедия смерти является источником красоты жизни, и наоборот. Хотя лучше, что мы смертны, все же печально, что нам приходится умирать. Смерть приводит к бессмысленному окончанию тех вовлеченностей, которые составляют нашу жизнь. И тем не менее, без этого бессмысленного конца сами эти вовлеченности могли бы не иметь смысла. Они стали бы просто частью бесконечного чередования событий. Они не могли бы нас тронуть. Иными словами, без красоты моментов, которые дарует нам жизнь, наша смерть не была бы трагедией; и без трагедии смерти эти моменты не были бы прекрасны. В этом смысле, как и в других, о которых мы говорили, смерть — это глубочайший и важнейший факт о нас. Быть человеком — значит умирать и, что еще важнее, знать, что однажды ты умрешь, осознавать это на протяжении всей своей жизни, даже если (или особенно если) мы прилагаем огромные усилия, чтобы избежать этого знания.

В 2004 году, когда я был в самолете, который, казалось, летел прямо на Эмпайр-стейт-билдинг, я не размышлял философски о смерти. Но смерть тогда сделала мою жизнь предельно ясной для меня. Будь я бессмертен, я бы не задался вопросами о своей жизни. Я бы не осознал, что жизнь, которой я живу, — это именно та жизнь, которой я хочу жить, даже если иногда мне так не казалось. Я бы не понял, что то, что я создал — с помощью удачи и других людей, — было чем-то, что, по крайней мере для меня, стоило того, чтобы создать.

Эта ясность имеет и другую сторону, которая не оставляет меня до сих пор. В те моменты я не сожалел о своей жизни, но и не хотел, чтобы она закончилась. Я примирился со своей жизнью, но не с миром со своей смертью. Тот факт, что я не сожалел о своей жизни, хотя это принесло мне утешение в те моменты, одновременно дал мне еще большее желание продолжать жить. Моя жизнь была хорошей; не было причин для ее окончания тогда.

Хорошество моей жизни на тот момент не дает мне никаких гарантий на будущее. Будущее любого человека, как мы видели, неопределенно. Сложатся ли события так, что в следующий раз, когда я столкнусь с возможностью своей смерти, я вынесу иной вердикт по сравнению с тем днем на самолете? Я не могу сказать точно. Есть много вещей, которые я не могу контролировать в своем будущем, и смерть — одна из них. Моя единственная надежда заключается в том, что, насколько это зависит от меня, я смогу держать уроки своей смерти достаточно близко к себе, чтобы не сбиться с пути в то время, что мне осталось.

Для всех нас наша смерть — это трудный факт, с которым нужно смириться. Возможно, это не самое трудное, с чем можно столкнуться. Смерть или угасание любимого человека, особенно собственного ребенка, могут оказаться еще более тяжелыми испытаниями. Тем не менее, смерть сложна. Это трудность, которая определяет каждого из нас как человека. Главная мысль этой книги заключается в том, что если мы поймем эту трудность, если будем готовы смотреть ей в лицо без иллюзий и избегания, мы сможем использовать ее силу для того, чтобы сделать из себя что-то, о чем мы не будем жалеть. Создавать свою жизнь под угрожающей тенью смерти — это и наша реальность, и наша возможность. Смерть делает нас уязвимыми существами, которыми мы являемся, и дает нам инструменты, чтобы превратить эту уязвимость во что-то, что стоило бы прожить. Задача каждого из нас, перед лицом своей собственной смерти, заключается в том, чтобы жить, приближаясь к своему концу и принимая его таким образом, или несколькими способами, которые способны пролить свет на ту тьму, которая в конечном итоге нас поглотит.